

ДЖЕК
ЛОУИШОН

СОЧИНЕНИЯ

Jack London. White Fang. 1906.

Перевод с английского Н. Волжиной

- [Джек Лондон](#)
 -
 - [Часть первая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Часть вторая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Часть третья](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Часть четвёртая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 - [Глава 6](#)
 - [Часть пятая](#)
 - [Глава 1](#)
 - [Глава 2](#)
 - [Глава 3](#)
 - [Глава 4](#)
 - [Глава 5](#)
 -
-

Благодарим Вас за использование нашей библиотеки Librs.net.

Джек Лондон

•
БЕЛЫЙ КЛЫК

Глава 1

Погоня за добычей

Тёмный еловый лес стоял, нахмурившись, по обоим берегам скованной льдом реки. Недавно пронёсшийся ветер сорвал с деревьев белый покров инея, и они, чёрные, зловещие, клонились друг к другу в надвигающихся сумерках. Глубокое безмолвие царило вокруг. Весь этот край, лишённый признаков жизни с её движением, был так пустынен и холоден, что дух, витающий над ним, нельзя было назвать даже духом скорби. Смех, но смех страшнее скорби, слышался здесь — смех безрадостный, точно улыбка сфинкса, смех, леденящий своим бездушием, как стужа. Это извечная мудрость — властная, вознесённая над миром — смеялась, видя тщету жизни, тщету борьбы. Это была глушь — дикая, оледеневшая до самого сердца Северная глушь.

И всё же что-то живое двигалось в ней и бросало ей вызов. По замёрзшей реке пробиралась упряжка ездовых собак. Взъерошенная шерсть их заиндевала на морозе, дыхание застывало в воздухе и кристаллами оседало на шкуре. Собаки были в кожаной упряжи, и кожаные постромки шли от неё к волочившимся сзади саням. Сани без полозьев, из толстой берёзовой коры, всей поверхностью ложились на снег. Передок их был загнут кверху, как свиток, чтобы приминать мягкие снежные волны, встававшие им навстречу. На санях стоял крепко притороченный узкий, продолговатый ящик. Были там и другие вещи: одежда, топор, кофейник, сковорода; но прежде всего бросался в глаза узкий продолговатый ящик, занимавший большую часть саней.

Впереди собак на широких лыжах с трудом ступал человек. За санями шёл второй. На санях, в ящике, лежал третий, для которого с земными трудами было покончено, ибо Северная глушь одолела, сломила его, так что он не мог больше ни двигаться, ни бороться. Северная глушь не любит движения. Она ополчается на жизнь, ибо жизнь есть движение, а Северная глушь стремится остановить всё то, что движется. Она замораживает воду, чтобы задержать её бег к морю; она высасывает соки из дерева, и его могучее сердце коченеет от стужи; но с особенной яростью и жестокостью Северная глушь ломает упорство человека, потому что человек — самое мятежное существо в мире, потому что человек всегда восстаёт против её воли, согласно которой всякое движение в конце концов должно прекратиться.

И всё-таки впереди и сзади саней шли два бесстрашных и непокорных человека, ещё не расставшиеся с жизнью. Их одежда была сшита из меха и мягкой дублёной кожи. Ресницы, щёки и губы у них так обледенели от застывающего на воздухе дыхания, что под ледяной коркой не было видно лица. Это придавало им вид каких-то призрачных масок, могильщиков из потустороннего мира, совершающих погребение призрака. Но это были не призрачные маски, а люди, проникшие в страну скорби, насмешки и безмолвия, смельчаки, вложившие все свои жалкие силы в дерзкий замысел и задумавшие потягаться с могуществом мира, столь же далёкого, пустынного и чуждого им, как и необъятное пространство космоса.

Они шли молча, сберегая дыхание для ходьбы. Почти осязаемое безмолвие окружало их со всех сторон. Оно давило на разум, как вода на большой глубине давит на тело водолаза. Оно угнетало безграничностью и непреложностью своего закона. Оно добиралось до самых сокровенных тайников их сознания, выжимая из него, как сок из винограда, всё напускное, ложное, всякую склонность к слишком высокой самооценке, свойственную человеческой душе, и внушало им мысль, что они всего лишь ничтожные, смертные существа, пылинки, мошки, которые прокладывают свой путь наугад, не замечая игры слепых сил природы.

Прошёл час, прошёл другой. Бледный свет короткого, тусклого дня начал меркнуть, когда в окружающей тишине пронёсся слабый, отдалённый вой. Он стремительно взвился вверх, достиг

высокой ноты, задержался на ней, дрожа, но не сбавляя силы, а потом постепенно замер. Его можно было принять за стенание чьей-то погибшей души, если б в нём не слышалось угрюмой ярости и ожесточения голода.

Человек, шедший впереди, обернулся, поймал взгляд того, который брёл позади саней, и они кивнули друг другу. И снова тишину, как иголкой, пронзил вой. Они прислушались, стараясь определить направление звука. Он доносился из тех снежных просторов, которые они только что прошли.

Вскоре послышался ответный вой, тоже откуда-то сзади, но немного левее.

— Это ведь они за нами гонятся, Билл, — сказал шедший впереди. Голос его прозвучал хрипло и неестественно, и говорил он с явным трудом.

— Добычи у них мало, — ответил его товарищ. — Вот уже сколько дней я не видел ни одного заячьего следа.

Путники замолчали, напряжённо прислушиваясь к вою, который поминутно раздавался позади них.

Как только наступила темнота, они повернули собак к елям на берегу реки и остановились на привал. Гроб, снятый с саней, служил им и столом и скамьёй. Сбившись в кучу по другую сторону костра, собаки рычали и грызлись, но не выказывали ни малейшего желания убежать в темноту.

— Что-то они уж слишком жмутся к огню, — сказал Билл.

Генри, присевший на корточки перед костром, чтобы установить на огне кофейник с куском льда, молча кивнул. Заговорил он только после того, как сел на гроб и принялся за еду.

— Шкуру свою берегут. Знают, что тут их накормят, а там они сами пойдут кому-нибудь на корм. Собак не проведёшь.

Билл покачал головой:

— Кто их знает!

Товарищ посмотрел на него с любопытством.

— Первый раз слышу, чтобы ты сомневался в их уме.

— Генри, — сказал Билл, медленно разжёвывая бобы, — а ты не заметил, как собаки грызлись, когда я кормил их?

— Действительно, возни было больше, чем всегда, — подтвердил Генри.

— Сколько у нас собак, Генри?

— Шесть.

— Так вот... — Билл сделал паузу, чтобы придать больше веса своим словам. — Я тоже говорю, что у нас шесть собак. Я взял шесть рыб из мешка, дал каждой собаке по рыбе. И одной не хватило, Генри.

— Значит, обсчитался.

— У нас шесть собак, — безучастно повторил Билл. — Я взял шесть рыб. Одноухому рыбы не хватило. Мне пришлось взять из мешка ещё одну рыбу.

— У нас всего шесть собак, — стоял на своём Генри.

— Генри, — продолжал Билл, — я не говорю, что все были собаки, но рыба досталась семерым.

Генри перестал жевать, посмотрел через костёр на собак и пересчитал их.

— Сейчас там только шесть, — сказал он.

— Седьмая убежала, я видел, — со спокойной настойчивостью проговорил Билл. — Их было семь.

Генри взглянул на него с состраданием и сказал:

— Поскорее бы нам с тобой добраться до места.

— Это как же понимать?

— А так, что от этой поклажи, которую мы везём, ты сам не свой стал, вот тебе и мерещится бог знает что.

— Я об этом уж думал, — ответил Билл серьёзно. — Как только она побежала, я сразу взглянул на снег и увидел следы; потом сосчитал собак — их было шесть. А следы — вот они. Хочешь взглянуть? Пойдём — покажу.

Генри ничего ему не ответил и молча продолжал жевать. Съев бобы, он запил их горячим кофе, вытер рот рукой и сказал:

— Значит, по-твоему, это...

Протяжный тоскливый вой не дал ему договорить. Он молча прислушался, а потом закончил начатую фразу, ткнув пальцем назад, в темноту:

— ...это гость оттуда? Билл кивнул.

— Как ни вертись, больше ничего не придумаешь. Ты же сам слышал, какую грызню подняли собаки.

Протяжный вой слышался всё чаще и чаще, издали доносились ответные завывания, — тишина превратилась в сущий ад. Вой нёсся со всех сторон, и собаки в страхе сбились в кучу так близко к костру, что огонь чуть ли не подпаливал им шерсть.

Билл подбросил хвороста в костёр и закурил трубку.

— Я вижу, ты совсем захандрил, — сказал Генри.

— Генри... — Билл задумчиво пососал трубку. — Я всё думаю, Генри: он куда счастливее нас с тобой. — И Билл постучал пальцем по гробу, на котором они сидели — Когда мы умрём, Генри, хорошо, если хоть кучка камней будет лежать над нашими телами, чтобы их не сожрали собаки.

— Да ведь ни у тебя, ни у меня нет ни родни, ни денег, — сказал Генри. — Вряд ли нас с тобой повезут хоронить в такую даль, нам такие похороны не по карману.

— Чего я никак не могу понять, Генри, это — зачем человеку, который был у себя на родине не то лордом, не то вроде этого и ему не приходилось заботиться ни о еде, ни о тёплых одеялах, — зачем такому человеку понадобилось рыскать на краю света, по этой богом забытой стране?..

— Да. Сидел бы дома, дожил бы до старости, — согласился Генри.

Его товарищ открыл было рот, но так ничего и не сказал. Вместо этого он протянул руку в темноту, стеной надвигавшуюся на них со всех сторон. Во мраке нельзя было разглядеть никаких определённых очертаний; виднелась только пара глаз, горящих, как угли.

Генри молча указал на вторую пару и на третью. Круг горящих глаз стягивался около их стоянки. Время от времени какая-нибудь пара меняла место или исчезала, с тем чтобы снова появиться секундой позже.

Собаки беспокоились всё больше и больше и вдруг, охваченные страхом, сбились в кучу почти у самого костра, подползли к людям и прижались к их ногам. В свалке одна собака попала в костёр; она завизжала от боли и ужаса, и в воздухе запахло палёной шерстью. Кольцо глаз на минуту разомкнулось и даже чуть-чуть отступило назад, но как только собаки успокоились, оно снова оказалось на прежнем месте.

— Вот беда, Генри! Патронов мало!

Докурив трубку, Билл помог своему спутнику разложить меховую постель и одеяло поверх еловых веток, которые он ещё перед ужином набросал на снег. Генри крякнул и принялся развязывать мокасины.

— Сколько у тебя осталось патронов? — спросил он.

— Три, — послышалось в ответ. — А надо бы триста. Я бы им показал, дьяволам!

Он злобно погрозил кулаком в сторону горящих глаз и стал устанавливать свои мокасины перед огнём.

— Когда только эти морозы кончатся! — продолжал Билл. — Вот уже вторую неделю всё пятьдесят да пятьдесят градусов. И зачем только я пустился в это путешествие, Генри! Не нравится оно мне. Не по себе мне как-то. Приехать бы уж поскорее, и дело с концом! Сидеть бы нам с тобой сейчас у камина в форте Мак-Гэрри, играть в криббедж... Много бы я дал за это!

Генри проворчал что-то и стал укладываться. Он уже задремал, как вдруг голос товарища разбудил его:

— Знаешь, Генри, что меня беспокоит? Почему собаки не накинулись на того, пришлого, которому тоже досталась рыба?

— Уж очень ты стал беспокойный, Билл, — послышался сонный ответ. — Раньше за тобой этого не водилось. Перестань болтать, спи, а утром встанешь как ни в чём не бывало. Изжога у тебя, оттого ты и беспокоишься.

Они спали рядом, под одним одеялом, тяжело дыша во сне. Костёр потухал, и круг горящих глаз, оцепивших стоянку, смыкался всё теснее и теснее.

Собаки жались одна к другой, угрожающе рычали, когда какая-нибудь пара глаз подбиралась слишком близко. Вот они зарычали так громко, что Билл проснулся. Осторожно, стараясь не разбудить товарища, он вылез из-под одеяла и подбросил хвороста в костёр. Огонь вспыхнул ярче, и кольцо глаз подалось назад.

Билл посмотрел на сбившихся в кучу собак, протёр глаза, взгляделся попристальнее и снова забрался под одеяло.

— Генри! — окликнул он товарища. — Генри! Генри застонал, просыпаясь, и спросил:

— Ну, что там?

— Ничего, — услышал он, — только их опять семь. Я сейчас пересчитал.

Генри встретил это известие ворчанием, тотчас же перешедшим в храп, и снова погрузился в сон.

Утром он проснулся первым и разбудил товарища. До рассвета оставалось ещё часа три, хотя было уже шесть часов утра. В темноте Генри занялся приготовлением завтрака, а Билл свернул постель и стал укладывать вещи в сани.

— Послушай, Генри, — спросил он вдруг, — сколько, ты говоришь, у нас было собак?

— Шесть.

— Вот и неверно! — заявил он с торжеством.

— Опять семь? — спросил Генри.

— Нет, пять. Одна пропала.

— Что за дьявол! — сердито крикнул Генри, и, бросив стряпню, пошёл пересчитать собак.

— Правильно, Билл, — сказал он. — Фэтти сбежал.

— Улизнул так быстро, что и не заметили. Пойди-ка същи его теперь.

— Пропащее дело, — ответил Генри. — Живьём слопали. Он, наверное, не один раз взвизгнул, когда эти дьяволы принялись его рвать.

— Фэтти всегда был глуповат, — сказал Билл.

— У самого глупого пса всё-таки хватит ума не идти на верную смерть.

Он оглядел остальных собак, быстро оценивая в уме достоинства каждой.

— Эти умнее, они такой шгуки не выкинут.

— Их от костра и палкой не отгонишь, — согласился Билл. — Я всегда считал, что у Фэтти не всё в порядке.

Таково было надгробное слово, посвящённое собаке, погибшей на Северном пути, — и оно было ничуть не скупее многих других эпитафий погибшим собакам, да, пожалуй, и людям.

Глава 2

Волчица

Позавтракав и уложив в сани свои скудные пожитки, Билл и Генри покинули приветливый костёр и двинулись в темноту. И тотчас же послышался вой — дикий, заунывный вой; сквозь мрак и холод он долетал до них отовсюду. Путники шли молча. Рассвело в девять часов.

В полдень небо на юге порозовело — в том месте, где выпуклость земного шара встаёт преградой между полуденным солнцем и страной Севера. Но розовый отблеск быстро померк. Серый дневной свет, сменивший его, продержался до трёх часов, потом и он погас, и над пустынным безмолвным краем опустился полог арктической ночи.

Как только наступила темнота, вой, преследовавший путников и справа, и слева, и сзади, послышался ближе; по временам он раздавался так близко, что собаки не выдерживали и начинали метаться в постромках.

После одного из таких припадков панического страха, когда Билл и Генри снова привели упряжку в порядок, Билл сказал:

— Хорошо бы они на какую-нибудь дичь напали и оставили нас в покое.

— Да, слушать их малоприятно, — согласился Генри. И они замолчали до следующего привала.

Генри стоял, нагнувшись, над закипающим котелком с бобами и подкладывал туда колотый лёд, когда за его спиной вдруг послышался звук удара, возглас Билла и пронзительный визг. Он выпрямился и успел разглядеть только неясные очертания какого-то зверя, промчавшегося по снегу и скрывшегося в темноте. Потом Генри увидел, что Билл не то с торжествующим, не то с убитым видом стоит среди собак, держа в одной руке палку, а в другой хвост вяленого лосося.

— Половину всё-таки утащил! — крикнул он. — Зато я всыпал ему как следует. Слышал визг?

— А кто это? — спросил Генри.

— Не разобрал. Могу только сказать, что ноги, и пасть, и шкура у него имеются, как у всякой собаки.

— Ручной волк, что ли?

— Волк или не волк, только, должно быть, действительно ручной, если является прямо к кормёжке и хватает рыбу.

Этой ночью, когда они сидели после ужина на ящике, покуривая трубки, круг горящих глаз сузился ещё больше.

— Хорошо бы они стадо лосей где-нибудь спугнули и оставили нас в покое, — сказал Билл.

Его товарищ пробормотал что-то не совсем любезное, и минут двадцать они сидели молча: Генри — уставившись на огонь, а Билл — на круг горящих глаз, светившийся в темноте, совсем близко от костра.

— Хорошо было бы сейчас подкатить к Мак-Гэрри... — снова начал Билл.

— Да брось ты своё «хорошо бы», перестань мыть! — не выдержал Генри. — Изжога у тебя, вот ты и скулишь. Выпей соды — сразу полегчает, и мне с тобою будет веселее.

Утром Генри разбудила отчаянная брань. Он поднялся на локте и увидел, что Билл стоит среди собак у разгорающегося костра и с искажённым от бешенства лицом яростно размахивает руками.

— Эй! — крикнул Генри. — Что случилось?

— Фрог убежал, — услышал он в ответ.

— Быть не может!

— Говорю тебе, убежал.

Генри выскочил из-под одеяла и кинулся к собакам.

Внимательно пересчитав их, он присоединил свой голос к проклятиям, которые его товарищ посылал по адресу всесильной Северной глуши, лишившей их ещё одной собаки.

— Фрог был самый сильный во всей упряжке, — закончил свою речь Билл.

— И ведь смышлённый! — прибавил Генри.

Такова была вторая эпитафия за эти два дня.

Завтрак прошёл невесело; оставшуюся четвёрку собак запрягли в сани. День этот был точным повторением многих предыдущих дней. Путники молча брели по снежной пустыне. Безмолвие нарушал лишь вой преследователей, которые гнались за ними по пятам, не показываясь на глаза. С наступлением темноты, когда погоня, как и следовало ожидать, приблизилась, вой послышался почти рядом; собаки дрожали от страха, метались и путали постромки, ещё больше угнетая этим людей.

— Ну, безмозглые твари, теперь уж никуда не денетесь, — с довольным видом сказал Билл на очередной стоянке.

Генри оставил стряпню и подошёл посмотреть. Его товарищ привязал собак по индейскому способу, к палкам. На шею каждой собаки он надел кожаную петлю, к петле привязал толстую длинную палку — вплотную к шее; другой конец палки был прикреплен кожаным ремнём к вбитому в землю колу. Собаки не могли перегрызть ремень около шеи, а палки мешали им достать зубами привязь у кола.

Генри одобритительно кивнул головой.

— Одноухого только таким способом и можно удержать. Ему ничего не стоит перегрызть ремень — всё равно что ножом полоснуть. А так к утру все целы будут.

— Ну ещё бы! — сказал Билл. — Если хоть одна пропадёт, я завтра от кофе откажусь.

— А ведь они знают, что нам нечем их припугнуть, — заметил Генри, укладываясь спать и показывая на мерцающий круг, который окаймлял их стоянку. — Пальнуть бы в них разок-другой — живо бы уважение к нам почувствовали. С каждой ночью псе ближе и ближе подбираются. Отведи глаза от огня, взглядишь-ка в ту сторону. Ну? Видел вон того?

Оба стали с интересом наблюдать за смутными силуэтами, двигающимися позади костра. Пристально всматриваясь туда, где в темноте сверкала пара глаз, можно было разглядеть очертание зверя. По временам удавалось даже заметить, как эти звери переходят с места на место.

Возня среди собак привлекла внимание Билла и Генри. Нетерпеливо повизгивая, Одноухий то рвался с привязи в темноту, то, отступая назад, с остервенением грыз палку.

— Смотри, Билл, — прошептал Генри.

В круг, освещённый костром, неслышными шагами, боком, проскользнул зверь, похожий на собаку. Он подходил трусливо и в то же время нагло, устремив всё внимание на собак, но не упуская из виду и людей. Одноухий рванулся к прищельцу, насколько позволяла палка, и нетерпеливо заскулил.

— Этот болван, кажется, ни капли не боится, — тихо сказал Билл.

— Волчица, — шепнул Генри. — Теперь я понимаю, что произошло с Фэтти и с Фрогом. Стая выпускает её как приманку. Она привлекает собак, а остальные набрасываются и сжирают их.

В огне что-то затрещало. Головня откатилась в сторону с громким шипением. Испуганный зверь одним прыжком скрылся в темноте.

— Знаешь, что я думаю, Генри? — сказал Билл.

— Что?

— Это та самая, которую я огрел палкой.

— Можешь не сомневаться, — ответил Генри.

— Я вот что хочу сказать, — продолжал Билл, — видно, она привыкла к кострам, а это весьма подозрительно.

— Она знает больше, чем полагается знать уважающей себя волчице, — согласился Генри. — Волчица, которая является к кормёжке собак, — бывалый зверь.

— У старика Виллена была когда-то собака, и она ушла вместе с волками, — размышлял вслух Билл. — Кому это знать, как не мне? Я подстрелил её в стае волков на лосином пастбище у Литл-Стика. Старик Виллан плакал, как ребёнок. Говорил, что целых три года её не видел. И все эти три года она бегала с волками.

— Это не волк, а собака, и ей не раз приходилось есть рыбу из рук человека. Ты попал в самую точку, Билл.

— Если мне только удастся, я её уложу, и она будет не волк и не собака, а просто падаль, — заявил Билл. — Нам больше нельзя собак терять.

— Да ведь у тебя только три патрона, — возразил ему Генри.

— А я буду целиться наверняка, — последовал ответ. Утром Генри снова разжёл костёр и занялся приготовлением завтрака под храп товарища.

— Уж больно ты хорошо спал, — сказал он, поднимая его ото сна. — Будить тебя не хотелось.

Ещё не проснувшись как следует, Билл принялся за еду. Заметив, что его кружка пуста, он потянулся за кофейником. Но кофейник стоял далеко, возле Генри.

— Слушай, Генри, — сказал он с мягким упрёком, — ты ничего не забыл?

Генри внимательно огляделся по сторонам и покачал головой. Билл протянул ему пустую кружку.

— Не будет тебе кофе, — объявил Генри.

— Неужели весь вышел? — испуганно спросил Билл.

— Нет, не вышел.

— Боишься, что у меня желудок испортится?

— Нет, не боюсь.

Краска гнева залила лицо Билла.

— Так в чём же тогда дело, объясни, не томи меня, — сказал он.

— Спэнкер убежал, — ответил Генри. Медленно, с видом полнейшей покорности судьбе Билл повернул голову и, не сходя с места, пересчитал собак.

— Как это случилось? — безучастно спросил он. Генри пожал плечами.

— Не знаю. Должно быть, Одноухий перегрыз ему ремень. Сам-то он, конечно, не мог это сделать.

— Проклятая тварь! — медленно проговорил Билл, ничем не выдавая кипевшего в нём гнева. — У себя ремень перегрызть не мог, так у Спэнкера перегрыз.

— Ну, для Спэнкера теперь все жизненные тревоги кончились. Волки, наверно, уже переварили его, и теперь он у них в кишках. — Такую эпитафию прочёл Генри третьей собаке. — Выпей кофе, Билл.

Но Билл покачал головой.

— Ну, выпей, — настаивал Генри, подняв кофейник. Билл отодвинул свою кружку.

— Будь я проклят, если выпью! Сказал, что не буду, если собака пропадёт, — значит, не буду.

— Прекрасный кофе! — соблазнял его Генри.

Но Билл не сдался и позавтракал всухомятку, сдабривая еду нечленораздельными

проклятиями по адресу Одноухого, сыгравшего с ними такую скверную шутку.

— Сегодня на ночь привяжу их всех поодиночке, — сказал Билл, когда они тронулись в путь.

Пройдя не больше ста шагов, Генри, шедший впереди, нагнулся и поднял какой-то предмет, попавший ему под лыжи. В темноте он не мог разглядеть, что это такое, но узнал на ощупь и швырнул эту вещь назад, так что она стукнулась о сани и отскочила прямо к лыжам Билла.

— Может быть, тебе это ещё понадобится, — сказал Генри.

Билл ахнул. Вот всё, что осталось от Спэнкера, — палка, которая была привязана ему к шее.

— Начисто сожрали, — сказал Билл. — И даже ремней на палке не оставили. Здорово же они проголодались, Генри... Чего доброго, ещё и до нас с тобой доберутся.

Генри вызывающе рассмеялся.

— Правда, волки никогда за мной не гонялись, но мне приходилось и хуже этого, а всё-таки жив остался. Десятка назойливых тварей ещё недостаточно, чтобы доконать твоего покорного слугу, Билл!

— Посмотрим, посмотрим... — зловеще пробормотал его товарищ.

— Ну вот, когда будем подъезжать к Мак-Гэрри, тогда и посмотришь.

— Не очень-то я на это надеюсь, — стоял на своём Билл.

— Ты просто не в духе, и больше ничего, — решительно заявил Генри. — Тебе надо хины принять. Вот дай только до Мак-Гэрри добраться, я тебе вкачу хорошую дозу.

Билл проворчал что-то, выражая своё несогласие с таким диагнозом, и погрузился в молчание.

День прошёл, как и все предыдущие.

Рассвело в девять часов. В двенадцать горизонт на юге порозовел от невидимого солнца, и наступил хмурый день, который через три часа должна была поглотить ночь.

Как раз в ту минуту, когда солнце сделало слабую попытку выглянуть из-за горизонта, Билл вынул из саней ружьё и сказал:

— Ты не останавливайся, Генри. Я пойду взглянуть, что там делается.

— Не отходи от саней! — крикнул ему Генри. — Ведь у тебя всего три патрона. Кто его знает, что может случиться...

— Ага! Теперь ты заскулил? — торжествующе спросил Билл.

Генри промолчал и пошёл дальше один, то и дело беспокойно оглядываясь назад в пустынную мглу, где исчез его товарищ.

Час спустя Билл догнал сани, сократив расстояние напрямик.

— Широко разбрелись, — сказал он, — повсюду рыщут, но и от нас не отстают. Видно, уверены, что мы от них не уйдём. Решили потерпеть немного, не хотят упускать ничего съедобного.

— То есть им кажется, что мы не уйдём от них, — подчеркнул Генри.

Но Билл оставил эти слова без внимания.

— Я некоторых видел — тощие! Наверно, давно им ничего не перепадало, если не считать Фэтти, Фрога и Спэнкера. А стая большая, съели и не почувствовали. Здорово отощали. Рёбра, как стиральная доска, и животы совсем подвело. Одним словом, дошли до крайности. Того и гляди всякий страх забудут, а тогда держи ухо востро!

Через несколько минут Генри, который шёл теперь за санями, издал тихий предостерегающий свист.

Билл оглянулся и спокойно остановил собак. За поворотом, который они только что прошли, по их свежим следам бежал поджарый пушистый зверь. Принюхиваясь к снегу, он бежал лёгкой, скользящей рысцой. Когда люди остановились, остановился и он, вытянув морду и

втягивая вздрагивающими ноздрями доносившиеся до него запахи.

— Она. Волчица, — сказал Билл.

Собаки лежали на снегу. Он прошёл мимо них к товарищу, стоявшему около саней. Оба стали разглядывать странного зверя, который уже несколько дней преследовал их и уничтожил половину упряжки.

Выждав и осмотревшись, зверь сделал несколько шагов вперёд. Он повторял этот манёвр до тех пор, пока не подошёл к саням ярдов на сто, потом остановился около слей, поднял морду и, поводя носом, стал внимательно следить за наблюдавшими за ним людьми. В этом взгляде было что-то тоскливое, напоминавшее взгляд собаки, но без тени собачьей преданности. Это была тоска, рождённая голодом, жестоким, как волчьи клыки, безжалостным, как стужа.

Для волка зверь был велик, и, несмотря на его худобу, видно было, что он принадлежит к самым крупным представителям своей породы.

— Ростом фута два с половиной, — определил Генри. — И от головы до хвоста наверняка около пяти будет.

— Не совсем обычная масть для волка, — сказал Билл. — Я никогда рыжих не видал. А этот какой-то красновато-коричневый.

Билл ошибался. Шерсть у зверя была настоящая волчья. Преобладал в ней серый волос, но лёгкий красноватый оттенок, то исчезающий, то появляющийся снова, создавал обманчивое впечатление — шерсть казалась то серой, то вдруг отливала рыжиной.

— Самая настоящая ездовая лайка, только покрупнее, — сказал Билл. — Того и гляди хвостом завилает.

— Эй ты, лайка! — крикнул он. — Подойди-ка сюда... Как там тебя зовут!

— Да она ни капельки не боится, — засмеялся Генри. Его товарищ крикнул громче и погрозил зверю кулаком, однако тот не проявил ни малейшего страха и только ещё больше насторожился. Он продолжал смотреть на них всё с той же беспощадной голодной тоской. Перед ним было мясо, а он голодал. И если бы у него только хватило смелости, он кинулся бы на людей и сожрал их.

— Слушай, Генри, — сказал Билл, бессознательно понизив голос до шёпота. — У нас три патрона. Но ведь её можно убить наповал. Тут не промахнёшься. Трёх собак как не бывало, надо же положить этому конец. Что ты скажешь?

Генри кивнул головой в знак согласия.

Билл осторожно вытащил ружьё из саней, поднял было его, но так и не донёс до плеча. Волчица прыгнула с тропы в сторону и скрылась среди елей. Друзья посмотрели друг на друга. Генри многозначительно засвистал.

— Эх, не сообразил я! — воскликнул Билл, кладя ружьё на место. — Как же такой волчице не знать ружья, когда она знает время кормёжки собак! Говорю тебе, Генри, во всех наших несчастьях виновата она. Если бы не эта тварь, у нас сейчас было бы шесть собак, а не три. Нет, Генри, я до неё доберусь. На открытом месте её не убьёшь, слишком умна. Но я её выслежу. Я подстрелю эту тварь из засады.

— Только далеко не отходи, — предупредил его Генри. — Если они на тебя всей стаей набросятся, три патрона тебе помогут, как мёртвому припарки. Уж очень это зверьё проголодалось. Смотри, Билл, попадешься им!

В эту ночь остановка была сделана рано. Три собаки не могли везти сани так быстро и так подолгу, как это делали шесть; они заметно выбились из сил. Билл привязал их подальше друг от друга, чтобы они не перегрызли ремней, и оба путника сразу легли спать. Но волки осмелели и ночью не раз будили их. Они подходили так близко, что собаки начинали бесноваться от страха, и, для того чтобы удерживать осмелевших хищников на расстоянии, приходилось то и дело

подкладывать сучья в костёр.

— Моряки рассказывают, будто акулы любят плавать за кораблями, — сказал Билл, забираясь под одеяло после одной из таких прогулок к костру. — Так вот, волки — это сухопутные акулы. Они своё дело получше нас с тобой знают и бегут за нами вовсе не для моциона. Попадёмся мы им, Генри. Вот увидишь, попадёмся.

— Ты, можно считать, уже попался, если столько говоришь об этом, — отрезал его товарищ. — Кто боится порки, тот всё равно что выпорот, а ты всё равно что у волков на зубах.

— Они приканчивали людей и получше нас с тобой, — ответил Билл.

— Да перестань ты скулить! Сил моих больше нет!

Генри сердито перевернулся на другой бок, удивляясь тому, что Билл промолчал. Это на него не было похоже, потому что резкие слова легко выводили его из себя. Генри долго думал об этом, прежде чем заснуть, но в конце концов веки его начали слипаться, и он погрузился в сон с такой мыслью: «Хандрит Билл. Надо будет растормошить его завтра».

Глава 3

Песнь голода

Поначалу день сулил удачу. За ночь не пропало ни одной собаки, и Генри с Биллом бодро двинулись в путь среди окружающего их безмолвия, мрака и холода. Билл как будто не вспоминал о мрачных предчувствиях, тревоживших его прошлой ночью, и даже изволил подшутить над собаками, когда на одном из поворотов они опрокинули сани. Всё смешалось в кучу. Перевернувшись, сани застряли между деревом и громадным валуном, и, чтобы разобраться во всей этой путанице, пришлось распрягать собак. Путники нагнулись над санями, стараясь поднять их, как вдруг Генри увидел, что Одноухий убегает в сторону.

— Назад, Одноухий! — крикнул он, вставая с колен и глядя собаке вслед.

Но Одноухий припустил ещё быстрее, волоча по снегу постромки. А там, на только что пройденном ими пути, его поджидала волчица. Подбегая к ней, Одноухий наострил уши, перешёл на лёгкий мелкий шаг, потом остановился. Он глядел на неё внимательно, недоверчиво, но с жадностью. А она скалила зубы, как будто улыбаясь ему вкрадчивой улыбкой, потом сделала несколько игривых прыжков и остановилась. Одноухий пошёл к ней всё ещё с опаской, задрав хвост, наострив уши и высоко подняв голову.

Он хотел было обнюхать её, но волчица подалась назад, лукаво заигрывая с ним. Каждый раз, как он делал шаг вперёд, она отступала назад. И так, шаг за шагом, волчица увлекала Одноухого за собой, всё дальше от его надёжных защитников — людей. Вдруг как будто неясное опасение остановило Одноухого. Он повернул голову и посмотрел на опрокинутые сани, на своих товарищей по упряжке и на подзывающих его хозяев. Но если что-нибудь подобное и мелькнуло в голове у пса, волчица вмиг рассеяла всю его нерешительность: она подошла к нему, на мгновение коснулась его носом, а потом снова начала, играя, отходить всё дальше и дальше.

Тем временем Билл вспомнил о ружье. Но оно лежало под перевернутыми санями, и, пока Генри помог ему разобрать поклажу, Одноухий и волчица так близко подошли друг к другу, что стрелять на таком расстоянии было рискованно.

Слишком поздно понял Одноухий свою ошибку. Ещё не догадываясь, в чём дело, Билл и Генри увидели, как он повернулся и бросился бежать назад, к ним. А потом они увидели шгук двенадцать тощих серых волков, которые мчались под прямым углом к дороге, наперерез Одноухому. В одно мгновение волчица оставила всю свою игривость и лукавство — с рычанием кинулась она на Одноухого. Тот отбросил её плечом, убедился, что обратный путь отрезан, и, всё ещё надеясь добежать до саней, бросился к ним по кругу. С каждой минутой волков становилось всё больше и больше. Волчица неслась за собакой, держась на расстоянии одного прыжка от неё.

— Куда ты? — вдруг крикнул Генри, схватив товарища за плечо.

Билл стряхнул его руку.

— Довольно! — сказал он. — Больше они ни одной собаки не получат!

С ружьём наперевес он бросился в кустарник, окаймлявший речное русло. Его намерения были совершенно ясны: приняв сани за центр круга, по которому бежала собака. Билл рассчитывал перерезать этот круг в той точке, куда погоня ещё не достигла. Среди бела дня, имея в руках ружьё, отогнать волков и спасти собаку было вполне возможно.

— Осторожнее, Билл! — крикнул ему вдогонку Генри. — Не рискуй зря!

Генри сел на сани и стал ждать, что будет дальше. Ничего другого ему не оставалось. Билл уже скрылся из виду, но в кустах и среди растущих кучками елей то появлялся, то снова исчезал Одноухий. Генри понял, что положение собаки безнадежно. Она прекрасно сознавала опасность, но ей приходилось бежать по внешнему кругу, тогда как стая волков мчалась по

внутреннему, более узкому. Нечего было и думать, что Одноухий сможет настолько опередить своих преследователей, чтобы пересечь их путь и добраться до саней. Обе линии каждую минуту могли сомкнуться. Генри знал, что где-то там, в снегах, заслонённые от него деревьями и кустарником, в одной точке должны сойтись стая волков, Одноухий и Билл.

Всё произошло быстро, гораздо быстрее, чем он ожидал. Раздался выстрел, потом ещё два — один за другим, и Генри понял, что заряды у Билла вышли. Вслед за тем послышались визги и громкое рычание. Генри различил голос Одноухого, взывшего от боли и ужаса, и вой раненого, очевидно, волка.

И всё. Рычание смолкло. Визг прекратился. Над безлюдным краем снова нависла тишина.

Генри долго сидел на санях. Ему незачем было идти туда: всё было ясно, как будто встреча Билла со стаей произошла у него на глазах. Только один раз он вскочил с места и быстро вытащил из саней топор, но потом снова опустился на сани и хмуро уставился прямо перед собой, а две уцелевшие собаки жалась к его ногам и дрожали от страха.

Наконец он поднялся — так устало, как будто мускулы его потеряли всякую упругость, — и стал запрягать. Одну постромку он надел себе на плечи и вместе с собаками потащил сани. Но шёл он недолго и, как только стало темнеть, сделал остановку и заготовил как можно больше хвороста; потом накормил собак, поужинал и постелил себе около самого костра.

Но ему не суждено было насладиться сном. Не успел он закрыть глаза, как волки подошли чуть ли не вплотную к огню. Чтобы разглядеть их, уже не нужно было напрягать зрение. Тесным кольцом окружили они костёр, и Генри совершенно ясно видел, как одни из них лежали, другие сидели, третьи подползали на брюхе поближе к огню или бродили вокруг него. Некоторые даже спали. Они свёртывались на снегу клубочком, по-собачьи, и спали крепким сном, а он сам не мог теперь сомкнуть глаз.

Генри развёл большой костёр, так как он знал, что только огонь служит преградой между его телом и клыками голодных волков. Обе собаки сидели у ног своего хозяина — одна справа, другая слева — в надежде, что он защитит их; они выли, взвизгивали и принимались исступлённо лаять, если какой-нибудь волк подбирался к костру ближе остальных. Заслышав лай, весь круг приходил в движение, волки вскакивали со своих мест и порывались вперёд, нетерпеливо воя и рыча, потом снова укладывались на снегу и один за другим погружались в сон.

Круг сжимался всё теснее и теснее. Мало-помалу, дюйм за дюймом, то один, то другой волк ползком подвигался вперёд, пока все они не оказывались на расстоянии почти одного прыжка от Генри. Тогда он выхватывал из костра головни и швырял ими в стаю. Это вызывало поспешное отступление, сопровождаемое разъярённым воем и испуганным рычанием, если пущенная меткой рукой головня попадала в какого-нибудь слишком смелого волка.

К утру Генри осунулся, глаза у него запали от бессонницы. В темноте он сварил себе завтрак, а в девять часов, когда дневной свет разогнал волков, принялся за дело, которое обдумал в долгие ночные часы. Он срубил несколько молодых елей и, привязав их высоко к деревьям, устроил помост, затем, перекинув через него верёвки от саней, с помощью собак поднял гроб и установил его там, наверху.

— До Билла добрались и до меня, может, доберутся, но вас-то, молодой человек, им не достать, — сказал он, обращаясь к мертвецу, погребённому высоко на деревьях.

Покончив с этим, Генри пустился в путь. Порожние сани легко подпрыгивали за собаками, которые прибавили ходу, зная, как и человек, что опасность минует их только тогда, когда они доберутся до форта Мак-Гэрри. Теперь волки совсем осмелели: спокойной рысцей бежали они позади саней и рядом, высунув языки, поводя тощими боками. Волки были до того худы — кожа да кости, только мускулы проступали, точно верёвки, — что Генри удивлялся, как они держатся

на ногах и не валяются в снег.

Он боялся, что темнота застанет его в пути. В полдень солнце не только согрело южную часть неба, но даже бледным золотистым краешком показалось над горизонтом. Генри увидел в этом доброе предзнаменование. Дни становились длиннее. Солнце возвращалось в эти края. Но как только приветливые лучи его померкли, Генри сделал привал. До полной темноты оставалось ещё несколько часов серого дневного света и мрачных сумерек, и он употребил их на то, чтобы запастись как можно больше хвороста.

Вместе с темнотой к нему пришёл ужас. Волки осмелели, да и проведённая без сна ночь давала себя знать. Закутавшись в одеяло, положив топор между ног, он сидел около костра и никак не мог преодолеть дремоту. Обе собаки жались вплотную к нему. Среди ночи он проснулся и в каких-нибудь двенадцати футах от себя увидел большого серого волка, одного из самых крупных во всей стае. Зверь медленно потянулся, точно разленившийся нёс, и всей пастью зевнул Генри прямо в лицо, поглядывая на него, как на свою собственность, как на добычу, которая рано или поздно достанется ему.

Такая уверенность чувствовалась в поведении всей стаи. Генри насчитал штук двадцать волков, смотревших на него голодными глазами или спокойно спавших на снегу. Они напоминали ему детей, которые собрались вокруг накрытого стола и ждут только разрешения, чтобы наброситься на лакомство. И этим лакомством суждено стать ему! «Когда же волки начнут свой пир?» — думал он.

Подкладывая хворост в костёр, Генри заметил, что теперь он совершенно по-новому относится к собственному телу. Он наблюдал за работой своих мускулов и с интересом разглядывал хитрый механизм пальцев. При свете: костра он несколько раз подряд сгибал их, то поодиночке, то всё сразу, то растопыривал, то быстро сжимал в кулак. Он приглядывался к строению ногтей, пощипывал кончики пальцев, то сильнее, то мягче, испытывая чувствительность своей нервной системы. Всё это восхищало Генри, и он внезапно проникся нежностью к своему телу, которое работало так легко, так точно и совершенно. Потом он бросил боязливый взгляд на волков, смыкавшихся вокруг костра всё теснее, и его, словно громом, поражала вдруг мысль, что это чудесное тело, эта живая плоть есть не что иное, как мясо — предмет вождения прожорливых зверей, которые разорвут, раздерут его своими клыками, утолят им свой голод так же, как он сам не раз утолял голод мясом лося и зайца.

Он очнулся от дремоты, граничившей с кошмаром, и увидел перед собой рыжую волчицу. Она сидела в каких-нибудь шести футах от костра и тоскливо поглядывала на человека. Обе собаки скулили и рычали у его ног, но волчица словно и не замечала их. Она смотрела на человека, и в течение нескольких минут отвечал ей тем же. Вид у неё был совсем не свирепый. В глазах её светилась страшная тоска, но Генри знал, что такая порождена таким же страшным голодом. Он был пицей, и вид этой пищи возбуждал в волчице вкусовые ощущения. Пасть её была разинута, слюна капала на снег, и она облизывалась, предвкушая поживу.

Безумный страх охватил Генри. Он быстро протянул руку за головнёй, но не успел дотронуться до неё, как волчица отпрянула назад: видимо, она привыкла к тому, чтобы в неё швыряли чем попало. Волчица огрызнулась, оскалив белые клыки до самых дёсен, тоска в её глазах сменилась такой кровожадной злобой, что Генри вздрогнул. Он взглянул на свою руку, заметил, с какой ловкостью пальцы держали головню, как они прилаживались ко всем её неровностям, охватывая со всех сторон шероховатую поверхность, как мизинец, помимо его воли, сам собой отодвинулся подальше от горячего места — взглянул и в ту же минуту ясно представил себе, как белые зубы волчицы вонзятся в эти тонкие, нежные пальцы и разорвут их. Никогда ещё Генри не любил своего тела так, как теперь, когда существование его было столь

непрочно.

Всю ночь Генри отбивался от голодной стаи горящими головнями, засыпал, когда бороться с дремотой не хватало сил, и просыпался от визга и рычания собак. Наступило утро, но на этот раз дневной свет не прогнал волков. Человек напрасно ждал, что его преследователи разбегутся. Они по-прежнему кольцом оцепляли костёр и смотрели на Генри с такой наглой уверенностью, что он снова лишился мужества, которое вернулось было к нему вместе с рассветом.

Генри тронулся в путь, но едва он вышел из-под защиты огня, как на него бросился самый смелый волк из стаи; однако прыжок был плохо рассчитан, и волк промахнулся. Генри спасся тем, что отпрыгнул назад, и зубы волка щёлкнули в нескольких дюймах от его бедра.

Вся стая кинулась к человеку, заметалась вокруг него, и только горящие головни отогнали её на почтительное расстояние.

Даже при дневном свете Генри не осмеливался отойти от огня и нарубить хвороста. Шагах в двадцати от саней стояла громадная засохшая ель. Он потратил половину дня, чтобы растянуть до неё цепь костров, всё время держа наготове для своих преследователей несколько горящих веток. Добравшись до цели, он огляделся вокруг, высматривая, где больше хвороста, чтобы свалить ель в ту сторону.

Эта ночь была точным повторением предыдущей, с той только разницей, что Генри почти не мог бороться со сном. Он уже не просыпался от рычания собак. К тому же они рычали не переставая, а его усталый, погружённый в дремоту мозг уже не улавливал оттенков в их голосах.

И вдруг он проснулся, будто от толчка. Волчица стояла совсем близко. Машинально он ткнул головней в её оскаленную пасть. Волчица отпрянула назад, воя от боли, а Генри с наслаждением вдыхал запах палёной шерсти и горелого мяса, глядя, как зверь трясёт головой и злобно рычит уже в нескольких шагах от него.

Но на этот раз, прежде чем заснуть, Генри привязал к правой руке тлеющий сосновый сук. Едва он закрывал глаза, как боль от ожога будила его. Так продолжалось несколько часов. Просыпаясь, он отгонял волков горящими головнями, подбрасывал в огонь хвороста и снова привязывал сук к руке. Всё шло хорошо; но в одно из таких пробуждений Генри плохо затянул ремень, и, как только глаза его закрылись, сук выпал у него из руки.

Ему снился сон. Форт Мак-Гэрри. Тепло, уютно. Он играет в криббедж с начальником фабрики. И ему снится, что волки осаждают форт. Волки воют у самых ворот, и они с начальником по временам отрываются от игры, чтобы прислушаться к вою и посмеяться над тщетными усилиями волков проникнуть внутрь форта. Потом — какой странный сон ему снился! — раздался треск. Дверь распахнулась настежь. Волки ворвались в комнату. Они кинулись на него и на начальника. Как только дверь распахнулась, вой стал оглушительным, он уже не давал ему покоя. Сон принимал какие-то другие очертания. Генри не мог ещё понять, какие, и понять это ему мешал вой, не прекращающийся ни на минуту.

А потом он проснулся и услышал вой и рычание уже наяву. Волки всей стаей бросились на него. Чьи-то клыки впились ему в руку. Он прыгнул в костёр и, прыгая, почувствовал, как острые зубы полоснули его по ноге. И вот началась битва. Толстые рукавицы защищали его руки от огня, он полными горстями расшвыривал во все стороны горящие угли, и костёр стал под конец чем-то вроде вулкана.

Но это не могло продолжаться долго. Лицо у Генри покрылось волдырями, брови и ресницы были опалены, ноги уже не терпели жара. Схватив в руки по головне, он прыгнул ближе к краю костра. Волки отступили. Справа и слева — всюду, куда только падали угли, шипел снег: и по отчаянным прыжкам, фырканию и рычанию можно было догадаться, что волки наступали на них. Расшвыряв головни, человек сбросил с рук тлеющие рукавицы и принялся топтать по снегу ногами, чтобы остудить их. Обе собаки исчезли, и он прекрасно знал, что Они послужили

очередным блюдом на том затянувшемся пиру, который начался с Фэтти и в один из ближайших дней, может быть, закончится им самим. — А всё-таки до меня вы ещё не добрались! — крикнул он, бешено погрозив кулаком голодным зверям. Услышав его голос, стая заметалась, дружно зарычала, а волчица подступила к нему почти вплотную и уставилась на него тоскливыми, голодными глазами. Генри принялся обдумывать новый план обороны. Разложив костёр широким кольцом, он бросил на тающий снег свою постель и сел на ней внутри этого кольца. Как только человек скрылся за огненной оградой, вся стая окружила её, любопытствуя, куда он девался. До сих пор им не было доступа к огню, а теперь они расселись около него тесным кругом и, как собаки, жмурились, зевали и потягивались в непривычном для них тепле. Потом волчица уселась на задние лапы, подняла голову и завывала. Волки один за другим подтягивали ей, и наконец вся стая, уставившись мордами в звёздное небо, затянула песнь голода.

Стало светать, потом наступил день. Костёр догорал. Хворост подходил к концу, надо было пополнить запас. Человек попытался выйти за пределы огненного кольца, но волки кинулись ему навстречу. Горящие головни заставляли их отскакивать в стороны, но назад они уже не убегали. Тщетно старался человек прогнать их. Убедившись наконец в безнадёжности своих попыток, он отступил внутрь горящего кольца, и в это время один из волков прыгнул на него, но промахнулся и всеми четырьмя лапами угодил в огонь. Зверь взвыл от страха, огрызнулся и отполз от костра, стараясь остудить на снегу обожжённые лапы.

Человек, сгорбившись, сидел на одеяле. По безвольно опущенным плечам и поникшей голове можно было понять, что у него больше нет сил продолжать борьбу. Время от времени он поднимал голову и смотрел на догорающий костёр. Кольцо огня и тлеющих углей кое-где уже разомкнулось, распалось на отдельные костры. Свободный проход между ними всё увеличивался, а сами костры уменьшались.

— Ну, теперь вы до меня доберётесь, — пробормотал Генри. — Но мне всё равно, я хочу спать...

Проснувшись, он увидел между двумя кострами прямо перед собой волчицу, смотревшую на него пристальным взглядом.

Спустя несколько минут, которые показались ему часами, он снова поднял голову. Произошла какая-то непонятная перемена, настолько непонятная для него, что он сразу очнулся. Что-то случилось. Сначала он не мог понять, что именно. Потом догадался: волки исчезли.

Только по вытоптанному кругом снегу можно было судить, как близко они подбирались к нему.

Волна дремоты снова охватила Генри, голова его упала на колени, но вдруг он вздрогнул и проснулся.

Откуда-то доносились людские голоса, скрип полозьев, нетерпеливое повизгивание собак. От реки к стоянке между деревьями подъезжало четверо нарт. Несколько человек окружили Генри, скорчившегося в кольце угасающего огня. Они расталкивали и трясли его, стараясь привести в чувство. Он смотрел на них, как пьяный, и бормотал вялым, сонным голосом:

— Рыжая волчица... приходила к кормёжке собак... Сначала сожрала собачий корм... потом собак... А потом Билла...

— Где лорд Альфред? — крикнул ему в ухо один из приехавших, с силой тряхнув его за плечо.

Он медленно покачал головой.

— Его она не тронула... Он там, на деревьях... у последней стоянки.

— Умер?

— Да. В гробу, — ответил Генри.

Он сердито дёрнул плечом, высвобождаясь от наклонившегося над ним человека.

— Оставьте меня в покое, я не могу... Спокойной ночи...

Веки Генри дрогнули и закрылись, голова упала на грудь. И как только его опустили на одеяло, в морозной тишине раздался громкий храп.

Но к этому храпу примешивались и другие звуки. Издали, еле уловимый на таком расстоянии, доносился вой голодной стаи, погнавшейся за другой добычей, взамен только что оставленного ею человека.

Глава 1

Битва клыков

Волчица первая услышала звуки человеческих голосов и повизгивание ездовых собак, и она же первая отпрянула от человека, загнанного в круг угасающего огня. Неохотно расставаясь с уже затравленной добычей, стоя помедлила несколько минут, прислушиваясь, а потом кинулась следом за волчицей.

Во главе стаи бежал крупный серый волк, один из её вожakov. Он-то и направил стаю по следам волчицы, предостерегающе огрызаясь на более молодых своих собратьев и отгоняя их ударами клыков, когда они отваживались забегать вперёд. И это он прибавил ходу, завидев впереди волчицу, медленной рысцой бежавшую по снегу.

Волчица побежала рядом с ним, как будто место это было предназначено для неё, и уже больше не удалялась от стаи. Вожак не рычал и не огрызался на волчицу, когда случайный скачок выносил её вперёд, — напротив, он, по-видимому, был очень расположен к ней, потому что старался всё время бежать рядом. А ей это не нравилось, и она рычала и скалила зубы, не подпуская его к себе. Иногда волчица не останавливалась даже перед тем, чтобы куснуть его за плечо. В таких случаях вожак не выказывал никакой злобы, а только отскакивал в сторону и делал несколько неуклюжих скачков, всем своим видом и поведением напоминая сконфуженного влюблённого простачка.

Это было единственное, что мешало ему управлять стаей. Но волчицу одолевали другие неприятности. Справа от неё бежал тощий старый волк, серая шкура которого носила следы многих битв. Он всё время держался справа от волчицы. Объяснялось это тем, что у него был только один глаз, левый. Старый волк то и дело теснил её, тыкаясь своей покрытой рубцами мордой то в бок ей, то в плечо, то в шею. Она встречала его ухаживания лязганьем зубов, так же как и ухаживание вожака, бежавшего слева, и, когда оба они начинали приставать к ней одновременно, ей приходилось туго: надо было рвануть зубами обоих, в то же время не отставать от стаи и смотреть себе под ноги. В такие минуты оба волка угрожающе рычали и скалили друг на друга зубы. В другое время они бы подрались, но сейчас даже любовь и соперничество уступали место более сильному чувству — чувству голода, терзающего всю стаю.

После каждого такого отпора старый волк отскакивал от строптивного предмета своих вожделений и сталкивался с молодым, трёхлетним волком, который бежал справа, со стороны его слепого глаза. Трёхлеток был вполне возмужалый и, если принять во внимание слабость и истощённость остальных волков, выделялся из всей стаи своей силой и живостью. И всё-таки он бежал так, что голова его была вровень с плечом одноглазого волка. Лишь только он отваживался поровняться с ним (что случалось довольно редко), старик рычал, лязгал зубами и тотчас же осаживал его на прежнее место. Однако время от времени трёхлеток отставал и украдкой втискивался между ним и волчицей. Этот манёвр встречал двойной, даже тройной отпор. Как только волчица начинала рычать, старый волк делал крутой поворот и набрасывался на трёхлетка. Иногда заодно со стариком на него набрасывалась и волчица, а иногда к ним присоединялся и вожак, бежавший слева.

Видя перед собой три свирепые пасти, молодой волк останавливался, оседал на задние лапы и, весь оцетинившись, показывал зубы. Замешательство во главе стаи неизменно сопровождалось замешательством и в задних рядах. Волки натякались на трёхлетка и выражали своё недовольство тем, что злобно кусали его за ляжки и за бока. Его положение было опасно, так как голод и ярость обычно сопутствуют друг другу. Но безграничная самоуверенность молодости толкала его на повторение этих попыток, хотя они не имели ни малейшего успеха и

доставляли ему лишь одни неприятности.

Попадись волкам какая-нибудь добыча — любовь и соперничество из-за любви тотчас же завладели бы стаей, и она рассеялась бы. Но положение её было отчаянное. Волки отощали от длительной голодовки и подвигались вперёд гораздо медленнее обычного. В хвосте, прихрамывая, плелись слабые — самые молодые и старики. Сильные шли впереди. Вес они походили скорее на скелеты, чем на настоящих волков. И всё-таки в их движениях — если не считать тех, кто прихрамывал, — не было заметно ни усталости, ни малейших усилий. Казалось, что в мускулах, выступавших у них на теле, как персики, таится неиссякаемый запас мощи. За каждым движением стального мускула следовало другое движение, за ним третье, четвертое — и так без конца.

В тот день волки пробежали много миль. Они бежали и ночью. Наступил следующий день, а они всё ещё бежали. Оледеневшее мёртвое пространство. Нигде ни малейших признаков жизни. Только они одни и двигались в этой застывшей пустыне. Только в них была жизнь, и они рыскали в поисках других живых существ, чтобы растерзать их — и жить, жить!

Волкам пришлось пересечь не один водораздел и обрыскать не один ручей в низинах, прежде чем поиски их увенчались успехом. Они встретили лосей. Первой их добычей был крупный лось-самец. Это была жизнь. Это было мясо, и его не защищали ни таинственный костёр, ни летающие головни. С раздвоенными копытами и ветвистыми рогами волкам приходилось встречаться не впервые, и они отбросили своё обычное терпение и осторожность. Битва была короткой и жаркой. Лось окружили со всех сторон. Меткими ударами тяжёлых копыт он распарывал волкам животы, пробивал черепа, громадными рогами ломал им кости. Лось подминал их под себя, катаясь по снегу, но он был обречён на гибель, и в конце концов ноги у него подломились. Волчица с остервенением впилась ему в горло, а зубы остальных волков рвали его на части — живьём, не дожидаясь, пока он затихнет и перестанет отбиваться.

Еды было вдоволь. Лось весил свыше восьмисот фунтов — по двадцати фунтов на каждую волчью глотку. Если волки с поразительной выдержкой умели поститься, то не менее поразительна была и быстрота, с которой они пожирали пищу, и вскоре от великолепного, полного сил животного, столкнувшегося несколько часов назад со стаей, осталось лишь несколько разбросанных по снегу костей.

Теперь волки подолгу отдыхали и спали. На сытый желудок самцы помоложе начали ссориться и драться, и что продолжалось весь остаток дней, предшествовавших распаду стаи. Голод кончился. Волки дошли до богатых дичью мест; охотились они по-прежнему всей стаей, но действовали уже с большей осторожностью, отрезая от небольших лосиных стад, попадавшихся им на пути, стельных самок или старых больных лосей.

И вот наступил день в этой стране изобилия, когда волчья стая разбилась на две. Волчица, молодой вожак, бежавший слева от неё, и Одноглазый, бежавший справа, повели свою половину стаи на восток, к реке Маккензи, и дальше, к озёрам. И эта маленькая стая тоже с каждым днём уменьшалась. Волки разбивались на пары — самец с самкой. Острые зубы соперника то и дело отгоняли прочь какого-нибудь одинокого волка. И наконец волчица, молодой вожак, Одноглазый и дерзкий трёхлеток остались вчетвером.

К этому времени характер у волчицы окончательно испортился. Следы её зубов имелись у всех троих ухаживателей. Но волки ни разу не ответили ей тем же, ни разу не попробовали защищаться. Они только подставляли плечи под самые свирепые укусы волчицы, повиливали хвостом и семенили вокруг неё, стараясь умерить её гнев. Но если к самке волки проявляли кротость, то по отношению друг к другу они были сама злоба. Свирепость трёхлетка перешла все границы. В одну из очередных ссор он подлетел к старому волку с той стороны, с которой тот ничего не видел, и на клочки разорвал ему ухо. Но седой одноглазый старик призвал на помощь

против молодости и силы всю свою долголетнюю мудрость и весь свой опыт. Его вытекший глаз и исполосованная рубцами морда достаточно красноречиво говорили о том, какого рода был этот опыт. Слишком много битв пришлось ему пережить на споем веку, чтобы хоть на одну минуту задуматься над тем, как следует поступить сейчас.

Битва началась честно, но нечестно кончилась. Трудно было бы заранее судить о её исходе, если б к старому вожаку не присоединился молодой; вместе они набросились на дерзкого трёхлетка. Безжалостные клыки бывших собратьев вонзались в него со всех сторон. Позабыты были те дни, когда волки вместе охотились, добыча, которую они вместе убивали, голод, одинаково терзавший их троих. Всё это было делом прошлого. Сейчас ими владела любовь — чувство ещё более суровое и жестокое, чем голод.

Тем временем волчица — причина всех раздоров — с довольным видом уселась на снегу и стала следить за битвой. Ей это даже нравилось. Пришёл её час, — что случается редко, — когда шерсть встаёт дыбом, клык ударяется о клык, рвёт, полосует податливое тело, — и всё это только ради обладания ею.

И трёхлеток, впервые в своей жизни столкнувшийся с любовью, поплатился за неё жизнью. Оба соперника стояли над его телом. Они смотрели на волчицу, которая сидела на снегу и улыбалась им. Но старый волк был мудр — мудр в делах любви не меньше, чем в битвах. Молодой вожак повернул головулизать рану на плече. Загривок его был обращён к сопернику. Своим единственным глазом старик углядел, какой удобный случай представляется ему. Кинувшись стрелой на молодого волка, он полоснул его клыками по шее, оставив на ней длинную, глубокую рану и вспоров вену, и тут же отскочил назад.

Молодой вожак зарычал, но его страшное рычание сразу перешло в судорожный кашель. Истекая кровью, кашляя, он кинулся на старого волка, но жизнь уже покидала его, ноги подкашивались, глаза застилал туман, удары и прыжки становились всё слабее и слабее. А волчица сидела в сторонке и улыбалась. Зрелище битвы вызывало в ней какое-то смутное чувство радости, ибо такова любовь в Северной глуши, а трагедию её познаёт лишь тот, кто умирает. Для тех же, кто остаётся в живых, она уже не трагедия, а торжество осуществившегося желания.

Когда молодой волк вытянулся на снегу, Одноглазый гордой поступью направился к волчице. Впрочем, полному торжеству победителя мешала необходимость быть начеку. Он простодушно ожидал резкого приёма и так же простодушно удивился, когда волчица не показала ему зубов, — впервые за всё это время его встретили так ласково. Она обнюхалась с ним и даже принялась прыгать и резвиться, совсем как щенок. И Одноглазый, забыв свой почтенный возраст и умудрённость опытом, тоже превратился в щенка, пожалуй, даже ещё более глупого, чем волчица.

Забыты были и побеждённые соперники и повесть о любви, кровью написанная на снегу. Только раз вспомнил об этом Одноглазый, когда остановился на минуту, чтобылизать раны. И тогда губы его злобно задрожали, шерсть на шее и на плечах поднялась дыбом, когти судорожно впились в снег, тело изогнулось, приготовившись к прыжку. Но в следующую же минуту всё было забыто, и он бросился вслед за волчицей, игриво манившей его в лес.

А потом они побежали рядом, как добрые друзья, пришедшие наконец к взаимному соглашению. Дни шли, а они не расставались — вместе гонялись за добычей, вместе убивали её, вместе съедали. Но потом волчицей овладело беспокойство. Казалось, она ищет что-то и никак не может найти. Её влекли к себе укромные местечки под упавшими деревьями, и она проводила целые часы, обнюхивая запорошённые снегом расселины в утёсах и пещеры под нависшими берегами реки. Старого волка всё это нисколько не интересовало, но он покорно следовал за ней, а когда эти поиски затягивались, ложился на снег и ждал её. Не задерживаясь подолгу на

одном месте, они пробежали до реки Маккензи и уже не спеша отправились вдоль берега, время от времени сворачивая в поисках добычи на небольшие притоки, но неизменно возвращаясь к реке. Иногда им попадались другие волки, бродившие обычно парами; но ни та, ни другая сторона не выказывала ни радости при встрече, ни дружелюбных чувств, ни желания снова собраться в стаю. Встречались на их пути и одинокие волки. Это были самцы, которые охотно присоединились бы к Одноглазому и его подруге. Но Одноглазый не желал этого, и стоило только волчице стать плечо к плечу с ним, оцетиниться и оскалить зубы, как навязчивые чужаки отступали, поворачивали вспять и снова пускались в свой одинокий путь.

Как-то раз, когда они бежали лунной ночью по затихшему лесу, Одноглазый вдруг остановился. Он задрал кверху морду, напряжил хвост и, раздув ноздри, стал нюхать воздух. Потом поднял переднюю лапу, как собака на стойке. Что-то встревожило его, и он продолжал принюхиваться, стараясь разгадать несущуюся по воздуху весть. Волчица потянула носом и побежала дальше, подбодряя своего спутника. Всё ещё не успокоившись, он последовал за ней, но то и дело останавливался, чтобы вникнуть в предостережение, которое нёс ему ветер.

Осторожно ступая, волчица вышла из-за деревьев на большую поляну. Несколько минут она стояла там одна. Потом весь насторожившись, каждым своим волоском излучая безграничное недоверие, к ней подошёл Одноглазый. Они стали рядом, продолжая прислушиваться, всматриваться, поводить носом.

До их слуха донеслись звуки собачьей грызни, гортанные голоса мужчин, пронзительная перебранка женщин и даже тонкий жалобный плач ребёнка. С, поляны им были видны только большие, обтянутые кожей вигвамы, пламя костров, которое поминутно заслоняли человеческие фигуры, и дым, медленно поднимающийся в спокойном воздухе. Но их ноздри уловили множество запахов индейского посёлка, говорящих о вещах, совершенно непонятных Одноглазому и знакомых волчице до мельчайших подробностей. Волчицу охватило странное беспокойство, и она продолжала принюхиваться всё с большим и большим наслаждением. Но Одноглазый всё ещё сомневался. Он нерешительно тронулся с места и выдал этим свои опасения. Волчица повернулась, ткнула его носом в шею, как бы успокаивая, потом снова стала смотреть на посёлок. В её глазах светилась тоска, но это уже не была тоска, рождённая голодом. Она дрожала от охватившего её желания бежать туда, подкрасться ближе к кострам, вмешаться в собачью драку, увёртываться и отскакивать от неосторожных шагов людей.

Одноглазый нетерпеливо топтался возле неё; но вот прежнее беспокойство вернулось к волчице, она снова почувствовала неодолимую потребность найти то, что так долго искала. Она повернулась и, к большому облегчению Одноглазого, побежала в лес, под прикрытые деревья.

Бесшумно, как тени, скользя в освещённом луной лесу, они напали на тропинку и сразу уткнулись носом в снег. Следы на тропинке были совсем свежие. Одноглазый осторожно двигался вперёд, а его подруга следовала за ним по пятам. Их широкие лапы с толстыми подушками мягко, как бархат, ложились на снег. Но вот Одноглазый увидел что-то белое на такой же белой снежной глади. Скользящая поступь Одноглазого скрадывала быстроту его движений, а теперь он припустил ещё быстрее. Впереди него мелькало какое-то неясное белое пятно.

Они с волчицей бежали по узкой прогалине, окаймлённой по обеим сторонам зарослью молодых елей и выходившей на залитую луной поляну. Старый волк настигал мелькавшее перед ним пятнышко. Каждый его прыжок сокращал расстояние между ними. Вот оно уже совсем близко. Ещё один прыжок — и зубы волка вопьются в него. Но прыжка этого так и не последовало. Белое пятно, оказавшееся зайцем, взлетело высоко в воздух прямо над головой Одноглазого и стало подпрыгивать и раскачиваться там, наверху, не касаясь земли, точно танцуя какой-то фантастический танец. С испуганным фырканьем Одноглазый отскочил назад и,

припав на снег, грозно зарычал на этот страшный и непонятный предмет. Однако волчица преспокойно обошла его, примерилась к прыжку и подскочила, стараясь схватить зайца. Она взвилась высоко, но промахнулась и только лязгнула зубами. За первым прыжком последовали второй и третий.

Медленно поднявшись, Одноглазый наблюдал за волчицей. Наконец её промахи рассердили его, он подпрыгнул сам и, ухватив зайца зубами, опустился на землю вместе с ним. Но в ту же минуту сбоку послышался какой-то подозрительный шорох, и Одноглазый увидел склонившуюся над ним молодую ёлку, которая готова была вот-вот ударить его. Челюсти волка разжались; оскалив зубы, он метнулся от этой непонятной опасности назад, в горле его заклокотало рычание, шерсть встала дыбом от ярости и страха. А стройное деревце выпрямилось, и заяц снова заплясал высоко в воздухе.

Волчица расвирепела. Она укусила Одноглазого в плечо, а он, испуганный этим неожиданным наскоком, с остервенением полоснул её зубами по морде. Такой отпор, в свою очередь, оказался неожиданностью для волчицы, и она накинулась на Одноглазого, рыча от негодования. Тот уже понял свою ошибку и попытался умиловить волчицу, но она продолжала кусать его. Тогда, оставив все надежды на примирение, Одноглазый начал увёртываться от её укусов, пряча голову и подставляя под её зубы то одно плечо, то другое.

Тем временем заяц продолжал плясать в воздухе. Волчица уселась на снегу, и Одноглазый, боясь теперь своей подруги ещё больше, чем таинственной ёлки, снова сделал прыжок. Схватив зайца и опустившись с ним на землю, он уставился своим единственным глазом на деревце. Как и прежде, оно согнулось до самой земли. Волк съёжился, ожидая неминуемого удара, шерсть на нём встала дыбом, но зубы не выпускали добычи. Однако удара не последовало. Деревце так и осталось склонённым над ним. Стоило волку двинуться, как ёлка тоже двигалась, и он ворчал на неё сквозь стиснутые челюсти; когда он стоял спокойно, деревце тоже не шевелилось, и волк решил, что так безопаснее. Но тёплая кровь зайца была такая вкусная!

Из этого затруднительного положения Одноглазого вывела волчица. Она взяла у него зайца и, пока ёлка угрожающе раскачивалась и колыхалась над ней, спокойно отгрызла ему голову. Ёлка сейчас же выпрямилась и больше не беспокоила их, заняв подобающее ей вертикальное положение, в котором дереву положено расти самой природой. А волчица с Одноглазым поделили между собой добычу, пойманную для них этим таинственным деревцем.

Много попадалось им таких тропинок и прогалин, где зайцы раскачивались высоко в воздухе, и волчья пара обследовала их все. Волчица всегда была первой, а Одноглазый шёл за ней следом, наблюдая и учась, как надо обкрадывать западни. И наука эта впоследствии сослужила ему хорошую службу.

Глава 2

Логовище

Два дня и две ночи бродили волчица и Одноглазый около индейского посёлка. Одноглазый беспокоился и трусил, а волчицу посёлок чем-то притягивал, и она никак не хотела уходить. Но однажды утром, когда в воздухе, совсем неподалёку от них, раздался выстрел и пуля ударила в дерево всего в нескольких дюймах от головы Одноглазого, волки уже больше не колебались и пустились в путь длинными ровными прыжками, быстро увеличивая расстояние между собой и опасностью.

Они бежали недолго — всего дня три. Волчица всё с большей настойчивостью продолжала свои поиски. Она сильно отяжелела за эти дни и не могла быстро бегать. Однажды, погнавшись за зайцем, которого в обычное время ей ничего не стоило бы поймать, она вдруг оставила погоню и прилегла на снег отдохнуть. Одноглазый подошёл к ней, но не успел он тихонько коснуться носом её шеи, как она с такой яростью укусила его, что он упал на спину и, являя собой весьма комическое зрелище, стал отбиваться от её зубов. Волчица сделалась ещё раздражительнее, чем прежде; но Одноглазый был терпелив и заботлив, как никогда.

И вот наконец волчица нашла то, что искала. Нашла в нескольких милях вверх по течению небольшого ручья, летом впадавшего в Маккензи; теперь, промёрзнув до каменистого дна, ручей затих, превратившись от истоков до устья в сплошной лёд. Волчица усталой рысцой бежала позади Одноглазого, ушедшего далеко вперёд, и вдруг заметила, что в одном месте высокий глинистый берег нависает над ручьём. Она свернула в сторону и подбежала туда. Буйные весенние ливни и тающие снега размыли узкую трещину в берегу и образовали там небольшую пещеру.

Волчица остановилась у входа в неё и внимательно оглядела наружную стену пещеры, потом обежала её с обеих сторон до того места, где обрыв переходил в пологий скат. Вернувшись назад, она пошла в пещеру через узкое отверстие. Первые фута три ей пришлось ползти, потом стены раздались вширь и ввысь, и волчица вышла на небольшую круглую площадку футов шести в диаметре. Головой она почти касалась потолка. Внутри было сухо и уютно. Волчица принялась обследовать пещеру, а Одноглазый стоял у входа и терпеливо наблюдал за ней. Опустив голову и почти касаясь носом близко сдвинутых лап, волчица несколько раз перевернулась вокруг себя, не то с усталым вздохом, не то с ворчанием подогнула ноги и растянулась на земле, головой ко входу. Одноглазый, наострив уши, посмеивался над ней, и волчице было видно, как кончик его хвоста добродушно ходит взад и вперёд на фоне светлого пятна — входа в пещеру. Она прижала свои острые уши, открыла пасть и высунула язык, всем своим видом выражая полное удовлетворение и спокойствие.

Одноглазому хотелось есть. Он заснул у входа в пещеру, но сон его был тревожен. Он то и дело просыпался и, наострив уши, прислушивался к тому, что говорил ему мир, залитый ярким апрельским солнцем, играющим на снегу. Лишь только Одноглазый начинал дремать, до ушей его доносился еле уловимый шёпот невидимых ручейков, и он поднимал голову, напряжённо вслушиваясь в эти звуки. Солнце снова появилось на небе, и пробуждающийся Север слал свой призыв волку. Всё вокруг оживало. В воздухе чувствовалась весна, под снегом зарождалась жизнь, деревья набухали соком, почки сбрасывали с себя ледяные оковы.

Одноглазый беспокойно поглядывал на свою подругу, но она не выказывала ни малейшего желания подняться с места. Он посмотрел по сторонам, увидел стайку пуночек, вспорхнувших неподалёку от него, приподнялся, но, взглянув ещё раз на волчицу, лёг и снова задремал. До его слуха донеслось слабое жужжание. Сквозь дремоту он несколько раз обмахнул лапой морду —

потом проснулся. У кончика его носа с жужжанием вился комар. Комар был большой, — вероятно, он провёл всю зиму в сухом пне, а теперь солнце вывело его из оцепенения. Волк был не в силах противиться зову окружающего мира; кроме того, ему хотелось есть.

Одноглазый подполз к своей подруге и попробовал убедить её подняться. Но она только огрызнулась на него. Тогда волк решил отправиться один и, выйдя на яркий солнечный свет, увидел, что снег под ногами проваливается и путешествие будет делом не лёгким. Он побежал вверх по замёрзшему ручью, где снег в тени деревьев был всё ещё твёрдый. Побродив часов восемь, Одноглазый вернулся затемно, ещё голоднее прежнего. Он не раз видел дичь, но не мог поймать её. Зайцы легко скакали по таявшему насту, а он проваливался и барахтался в снегу.

Какое-то смутное подозрение заставило Одноглазого остановиться у входа в пещеру. Оттуда доносились странные слабые звуки. Они не были похожи на голос волчицы, но вместе с тем в них чудилось что-то знакомое. Он осторожно вполз внутрь и услышал предостерегающее рычание своей подруги. Это не смутило Одноглазого, но заставило всё же держаться в некотором отдалении; его интересовали другие звуки — слабое, приглушённое повизгивание и плач.

Волчица сердито заворчала на него. Одноглазый свернулся клубком у входа в пещеру и заснул. Когда наступило утро и в логовище проник тусклый свет, волк снова стал искать источник этих смутно знакомых звуков. В предостерегающем рычании волчицы появились новые нотки: в нём слышалась ревность, — и это заставляло волка держаться от неё подальше. И всё-таки ему удалось разглядеть, что между ногами волчицы, прильнув к её брюху, копошились пять маленьких живых клубочков; слабые, беспомощные, они тихо повизгивали и не открывали глаз на свет. Волк удивился. Это случалось не в первый раз в его долгой и удачливой жизни, это случалось часто, и всё-таки каждый раз он заново удивлялся. Волчица смотрела на него с беспокойством. Время от времени она тихо ворчала, а когда волк, как ей казалось, подходил слишком близко, это ворчание становилось грозным. Инстинкт, опережающий у всех матерей-волчиц опыт, смутно подсказывал ей, что отцы могут съесть своё беспомощное потомство, хотя до сих пор она не знала такой беды. И страх заставлял её гнать Одноглазого от порождённых им волчат.

Впрочем, волчатам ничто не грозило. Старый волк, в свою очередь, почувствовал веление инстинкта, перешедшего к нему от его отцов. Не задумываясь над ним, не противясь ему, он ощутил это веление всем своим существом и, повернувшись спиной к своему новорождённому потомству, отправился на поиски пищи.

В пяти-шести милях от логовища ручей разветвлялся, и оба его рукава под прямым углом поворачивали к горам. Волк пошёл вдоль левого рукава и вскоре наткнулся на чьи-то следы. Обнюхав их и убедившись, что следы совсем свежие, он припал на снег и взглянул в том направлении, куда они вели. Потом не спеша повернулся и побежал вдоль правого рукава. Следы были гораздо крупнее его собственных, — и он знал, что гам, куда они приведут, надежды на добычу мало.

Пробежав с полмили вдоль правого рукава, волк уловил своим чутким ухом какой-то скрежещущий звук. Подкравшись ближе, он увидел дикобраза, который, встав на задние лапы, точил зубы о дерево. Одноглазый осторожно подобрался к нему, не надеясь, впрочем, на удачу. Так далеко на севере дикобразы ему не попадались, но он знал этих зверьков, хотя за всю свою жизнь ни разу не; попробовал их мяса. Однако опыт научил волка, что бывает в жизни счастье или удача, и он продолжал подбираться к дикобразу. Трудно угадать, чем кончится эта встреча, ведь исхода борьбы с живым существом никогда нельзя знать заранее.

Дикобраз свернулся клубком, растопырив во все стороны свои длинные острые иглы, и нападение стало теперь невозможным. В молодости Одноглазый ткнулся однажды мордой в

такой же вот безжизненный с виду клубок игл и неожиданно получил удар хвостом по носу. Одна игла так и осталась торчать у него в носу, причиняя жгучую боль, и вышла из раны только через несколько недель. Он лёг, приготовившись к прыжку и держа нос на расстоянии целого фута от хвоста дикобраза. Замерев на месте, он ждал. Кто знает? Всё может быть. Вдруг дикобраз развернётся. Вдруг представится случай ловким ударом лапы распороть нежное, ничем не защищённое брюхо.

Но через полчаса Одноглазый поднялся, злобно зарычал на неподвижный клубок и побежал дальше.

Слишком часто приходилось ему в прошлом караулить дикобразов — вот так же, без всякого толка, чтобы сейчас тратить на это время. И он побежал дальше по правому рукаву ручья. День подходил к концу, а его поиски всё ещё не увенчались успехом.

Проснувшийся инстинкт отцовства управлял волком. Он знал, что пищу надо найти во что бы то ни стало. В полдень ему попала белая куропатка. Он выбежал из зарослей кустарника и очутился нос к носу с этой глупой птицей. Она сидела на пне, в каком-нибудь футе от его морды. Они увидели друг друга одновременно. Птица испуганно взмахнула крыльями, но волк ударил её лапой, сшиб на землю и схватил зубами как раз в тот миг, когда она заметалась по снегу, пытаясь взлететь на воздух. Как только зубы Одноглазого вонзились в нежное мясо, ломая хрупкие кости, челюсти его заработали. Потом он вдруг вспомнил что-то и пустился бежать к пещере, прихватив куропатку с собой.

Пробежав ещё с милю своей бесшумной поступью, скользя, словно тень, и внимательно приглядываясь к каждому новому береговому изгибу, он опять наткнулся на следы всё тех же больших лап. Следы удалялись в ту сторону, куда лежал и его путь, и он приготовился в любую минуту встретить обладателя этих лап.

Волк осторожно высунул голову из-за скалы в том месте, где ручей круто поворачивал, и его зоркий глаз заметил нечто такое, что заставило его сейчас же прильнуть к земле. Это был тот самый зверь, который оставил большие следы на снегу, — крупная самка-рысь. Она лежала перед свернувшимся в тугой клубок дикобразом в той же позе, в какой рано утром лежал перед таким же дикобразом и сам волк. Если раньше Одноглазого можно было сравнить со скользкой тенью, то теперь это был призрак той тени, осторожно огибающий с подветренной стороны безмолвную, неподвижную пару — дикобраза и рысь.

Волк лёг на снег, положив куропатку рядом с собой, и сквозь иглы низкорослой сосны стал пристально следить за игрой жизни, развёртывающейся у него на глазах, — за рысью и дикобразом, которые хоть и притаились, но были полны сил и отстаивали каждый своё существование. Смысл же этой игры заключался в том, что один из её участников хотел съесть другого, а тот не хотел быть съеденным.

Старый волк тоже принимал участие в этой игре из своего укрытия, надеясь, а вдруг счастье окажется на его стороне и он добудет пищу, необходимую ему, чтобы жить.

Прошло полчаса, прошёл час; всё оставалось по-прежнему. Клубок игл сохранял полную неподвижность, и его легко можно было принять за камень; рысь превратилась в мраморное изваяние; а Одноглазый — тот был точно мёртвый. Однако все трое жили такой напряжённой жизнью, напряжённой почти до ощущения физической боли, что вряд ли когда-нибудь им приходилось чувствовать в себе столько сил, сколько они чувствовали сейчас, когда тела их казались окаменелыми.

Одноглазый подался вперёд, насторожившись ещё больше. Там, за сосной, произошли какие-то перемены. Дикобраз в конце концов решил, что враг его удалился. Медленно, осторожно стал он расправлять свою непроницаемую броню. Его не тревожило ни малейшее подозрение. Колючий клубок медленно-медленно развернулся и начал выпрямляться.

Одноглазый почувствовал, что рот у него наполняется слюной при виде живой дичи, лежавшей перед ним, как готовое угощение.

Ещё не успев развернуться до конца, дикобраз увидел своего врага. И в это мгновение рысь ударила его.

Удар был быстрый, как молния. Лапа с крепкими когтями, согнутыми, как у хищной птицы, распоролла нежное брюхо и тотчас же отдёрнулась назад. Если бы дикобраз развернулся во всю длину или заметил врага на какую-нибудь десятую долю секунды позже, лапа осталась бы невредимой, но в то мгновение, когда рысь отдёрнула лапу, дикобраз ударил её сбоку хвостом и вонзил в неё свои острые иглы.

Всё произошло одновременно — удар, ответный удар, предсмертный визг дикобраза и крик огромной кошки, ошеломлённой болью. Одноглазый привстал, наострил уши и вытянул хвост, дрожащий от волнения. Рысь дала волю своему нраву. Она с яростью набросилась на зверя, причинившего ей такую боль. Но дикобраз, хрипя, взвизгивая и пытаясь свернуться в клубок, чтобы спрятать вывалившиеся из распоротого брюха внутренности, ещё раз ударил хвостом. Большая кошка снова взвыла от боли и с фырканием отпрянула назад; нос её, весь утыканный иглами, стал похож на подушку для булавок. Она царапала его лапами, стараясь избавиться от этих жгучих, как огонь, стрел, тыкалась мордой в снег, тёрлась о ветки и прыгала вперёд, назад, направо, налево, не помня себя от безумной боли и страха.

Не переставая фыркать, рысь судорожно дёргала своим коротким хвостом, потом мало-помалу затихла. Одноглазый продолжал следить за ней и вдруг вздрогнул и ошетинился: рысь с отчаянным воем взметнулась высоко в воздух и кинулась прочь, сопровождая каждый свой прыжок пронзительным визгом. И только тогда, когда она скрылась и визги её замерли вдали, Одноглазый решился выйти вперёд. Он ступал с такой осторожностью, как будто весь снег был усыпан иглами, готовыми каждую минуту вонзиться в мягкие подушки на его лапах. Дикобраз встретил появление волка яростным визгом и лязганьем зубов. Он ухитрился кое-как свернуться, но это уже не был прежний непроницаемый клубок: порванные мускулы не повиновались ему, он был разорван почти пополам и истекал кровью.

Одноглазый хватал пастью и с наслаждением глотал окровавленный снег. После такой закуски голод его только усилился; но он недаром пожил на свете, — жизнь научила его осторожности. Надо было выждать время. Он лёг на снег перед дикобразом, а тот скрежетал зубами, хрипел и тихо повизгивал. Несколько минут спустя Одноглазый заметил, что иглы дикобраза мало-помалу опускаются и по всему его телу пробегает дрожь. Потом дрожь сразу прекратилась. Длинные зубы лязгнули в последний раз, иглы опустились, тело обмякло и больше уже не двигалось.

Робким, боязливым движением лапы Одноглазый растянул дикобраза во всю длину и перевернул его на спину. Всё обошлось благополучно. Дикобраз был мёртв. После внимательного осмотра волк осторожно взял свою добычу в зубы и побежал вдоль ручья, волоча её по снегу и повернув голову в сторону, чтобы не наступать на колючие иглы. Но вдруг он вспомнил что-то, бросил дикобраза и вернулся к куропатке. Он не колебался ни минуты, он знал, что надо сделать: надо съесть куропатку. И, съев её, Одноглазый побежал туда, где лежала его добыча.

Когда он втащил свою ношу в логовище, волчица осмотрела её, подняла голову и лизнула волка в шею. Но сейчас же вслед за тем она легонько зарычала, отгоняя его от волчат, — правда, на этот раз рычание было не такое уж злобное, в нём слышалось скорее извинение, чем угроза. Инстинктивный страх перед отцом её потомства постепенно пропал. Одноглазый вёл себя, как и подобало волку-отцу, и не проявлял незаконного желания сожрать малышей, произведённых ею на свет.

Глава 3

Серый волчонок

Он сильно отличался от своих братьев и сестёр. Их шерсть уже принимала рыжеватый оттенок, унаследованный от матери-волчицы, а он пошёл весь в Одноглазого. Он был единственным серым волчком во всём помёте. Он родился настоящим волком и очень напоминал отца, с той лишь разницей, что у него было два глаза, а у отца — один.

Глаза у серого волчка только недавно открылись, а он уже хорошо видел. И даже когда глаза у него были ещё закрыты, чувства обоняния, осязания и вкуса уже служили ему. Он прекрасно знал своих двух братьев и двух сестёр. Он поднимал с ними неуклюжую возню, подчас уже переходившую в драку, и его горлышко начинало дрожать от хриплых звуков, предвестников рычания. Задолго до того, как у него открылись глаза, он научился по запаху, осязанию и вкусу узнавать волчицу — источник тепла, пищи и нежности. И когда она своим мягким, ласкающим языком касалась его нежного тельца, он успокаивался, прижимался к ней и мирно засыпал.

Первый месяц его жизни почти весь прошёл во сне; но теперь он уже хорошо видел, спал меньше и мало-помалу начинал знакомиться с миром. Мир его был тёмный, хотя он не подозревал этого, так как не знал никакого другого мира. Волчка окружала полутьма, но глазам его не приходилось приспособляться к иному освещению. Мир его был очень мал, он ограничивался стенами логовища; волчонок не имел никакого понятия о необъятности внешнего мира, и поэтому жизнь в таких тесных пределах не казалась ему тягостной.

Впрочем, он очень скоро обнаружил, что одна из стен его мира отличается от других, — там был выход из пещеры, и оттуда шёл свет. Он обнаружил, что эта стена не похожа на другие, ещё задолго до того, как у него появились мысли и осознанные желания. Она непреодолимо влекла к себе волчка ещё в ту пору, когда он не мог видеть её. Свет, идущий оттуда, бил ему в сомкнутые веки, и его зрительные нервы отвечали на эти тёплые искорки, вызывавшие такое приятное и вместе с тем странное ощущение. Жизнь его тела, каждой клеточки его тела, жизнь, составляющая самую его сущность и действующая помимо его воли, рвалась к этому свету, влекла его к нему, так же как сложный химический состав растения заставляет его поворачиваться к солнцу.

Ещё задолго до того, как в волчке забрезжило сознание, он то и дело подползал к выходу из пещеры. Сёстры и братья не отставали от него. И в эту пору их жизни никто из них не забирался в тёмные углы у задней стены. Свет привлекал их к себе, как будто они были растениями; химический процесс, называющийся жизнью, требовал света; свет был необходимым условием их существования, и крохотные щенячьи тельца тянулись к нему, точно усики виноградной лозы, не размышляя, повинувшись только инстинкту. Позднее, когда в каждом из них начала проявляться индивидуальность, когда у каждого появились желания и сознательные побуждения, тяга к свету только усилилась. Они непрестанно ползли и тянулись к нему, и матери приходилось то и дело загонять их обратно.

Вот тут-то волчонок узнал и другие особенности своей матери, помимо её мягкого, ласкающего языка.

Настойчиво порываясь к свету, он убедился, что у матери есть нос, которым она в наказание может отбросить его назад; затем он узнал и лапу, умевшую примять его к земле и быстрым, точно рассчитанным движением перекатить в угол. Так он впервые испытал боль и стал избегать её, сначала просто не подвергая себя такому риску, а потом научившись увёртываться и удирать от наказания. Это уже были сознательные поступки — результат появившейся

способности обобщать явления мира. До сих пор он увёртывался от боли бессознательно, так же бессознательно, как и лез к свету. Но теперь он увёртывался от неё потому, что знал, что такое боль.

Он был очень свирепым волчонком. И такими же были его братья и сёстры. Этого и следовало ожидать. Ведь он был хищником и происходил из рода хищников, питавшихся мясом. Молоко, которое он сосал с первого же дня своей едва теплившейся жизни, вырабатывалось из мяса; и теперь, когда ему исполнился месяц и глаза его уже целую неделю были открыты, он тоже начал есть мясо, наполовину пережёванное волчицей для её пяти подросших детёнышей, которым теперь не хватало молока.

С каждым днём серый волчонок становился всё злее и злее. Рычание получалось у него более хриплым и громким, чем у братьев и сестёр, припадки щенячьей ярости были страшнее. Он первый научился ловким ударом лапы опрокидывать их навзничь. И он же первый схватил другого волчонка за ухо и принялся теребить и таскать его из стороны в сторону, яростно рыча сквозь стиснутые челюсти. И уж конечно, он больше всех других волчат причинял беспокойство матери, старавшейся отогнать свой выводок от выхода из пещеры.

Свет с каждым днём всё сильнее и сильнее манил к себе серого волчонка. Он поминутно пускался в странствования по пещере, стремясь к выходу из неё, и так же поминутно его оттаскивали назад. Правда, он не знал, что это был выход. Он не подозревал о существовании разных входов и выходов, которые ведут из одного места в другое. Он вообще не имел понятия о существовании других мест, а о способах добраться туда и подавно. Поэтому выход из пещеры казался ему стеной — стеной света. Чем солнце было для живущих на воле, тем для него была эта стена — солнцем его мира. Она притягивала его к себе, как огонь притягивает бабочку. Он беспрестанно стремился добраться туда. Жизнь, быстро растущая в нём, толкала его к стене света. Жизнь, таившаяся в нём, знала, что это единственный путь в мир — путь, на который ему суждено ступить. Но сам он ничего не знал об этом. Он не знал, что внешний мир существует.

У этой стены света было одно странное свойство. Его отец (а волчонок уже признал в нём одного из обитателей своего мира — похожее на мать существо, которое спит ближе к свету и приносит пищу) — его отец имел обыкновение проходить прямо сквозь далёкую светлую стену и исчезать за ней. Серый волчонок не мог понять этого. Мать не позволяла ему приближаться к светлой стене, но он подходил к другим стенам пещеры, и всякий раз его нежный нос натёкался на что-то твёрдое. Это причиняло боль. И после нескольких таких путешествий обследование стен прекратилось. Не задумываясь, он принял исчезновение отца за его отличительное свойство, так же как молоко и мясная жвачка были отличительными свойствами матери.

В сущности говоря, серый волчонок не умел мыслить, во всяком случае так, как мыслят люди. Мозг его работал в потёмках. И всё-таки его выводы были не менее чётки и определённые, чем выводы людей. Он принимал вещи такими, как они есть, не утруждая себя вопросом, почему случилось то-то или то-то. Достаточно было знать, что это случилось. Таков был его метод познания окружающего мира. И поэтому, ткнувшись несколько раз подряд носом в стены пещеры, он примирился с тем, что не может проходить сквозь них, не может делать то, что делает отец. Но желания разобраться в разнице между отцом и собой никогда не возникало у него. Логика и физика не принимали участия в формировании его мозга.

Как и большинству обитателей Северной глуши, ему рано пришлось испытать чувство голода. Наступили дни, когда отец перестал приносить мясо, когда даже материнские соски не давали молока. Волчата повизгивали и скулили и большую часть времени проводили во сне; потом на них напало голодное оцепенение. Не было уже возни и драк, никто из них не приходил в ярость, не пробовал рычать; и путешествия к далёкой белой стене прекратились. Они спали, и жизнь, чуть теплившаяся в них, мало-помалу гасла.

Одноглазый совсем потерял покой. Он рыскал повсюду и мало спал в логовище, которое стало теперь унылым и безрадостным. Волчица тоже оставила свой выводок и вышла на поиски корма. В первые дни после рождения волчат Одноглазый не раз наведывался к индейскому посёлку и обкрадывал заячьи силки, но как только снег растаял и реки вскрылись, индейцы ушли дальше, и этот источник пищи иссяк.

Когда серый волчонок немного окреп и снова стал интересоваться далёкой белой стеной, он обнаружил, что население его мира сильно уменьшилось. У него осталась всего лишь одна сестра. Остальные исчезли. Как только силы вернулись к нему, он стал играть, но играть в одиночестве, потому что сестра не могла ни поднять головы, ни шевельнуться. Его маленькое тело округлилось от мяса, которое он ел теперь, а для неё пища пришла слишком поздно. Она всё время спала, и искра жизни в её маленьком тельце, похожем на обтянутый кожей скелет, мерцала всё слабее и слабее и наконец угасла.

Потом наступило время, когда Одноглазый перестал появляться сквозь стену и исчезать за ней; место, где он спал у входа в пещеру, опустело. Это случилось в конце второй, менее свирепой голодовки. Волчица знала, почему Одноглазый не вернулся в логовище, но не могла рассказать серому волчонку о том, что ей пришлось увидеть.

Отправившись за добычей вверх по левому рукаву ручья, туда, где жила рысь, она нашла на вчерашний след Одноглазого. И там, где следы кончились, она нашла его самого — вернее, то, что от него осталось. Всё кругом говорило о недавней схватке и о том, что, выиграв эту схватку, рысь ушла к себе в нору. Волчица отыскала эту нору, но, судя по многим признакам, рысь была там, и волчица не решилась войти к ней.

После этого волчица перестала охотиться на левом рукаве ручья. Она знала, что у рыси в норе есть детёныши и что сама рысь славится своей злобой и неустрашимостью в драках. Трём-четырёх волкам ничего не стоит загнать на дерево фыркающую, оцетинившуюся рысь; однако совсем иное дело встретиться с ней с глазу на глаз, особенно когда знаешь, что за спиной у неё голодный выводок.

Но Северная глушь есть Северная глушь, и материнство есть материнство, — оно не останавливается ни перед чем как в Северной глуши, так и вне её; и неминуемо должен был настать день, когда ради своего серого детёныша волчица отважится пойти по левому рукаву к норе в скалах, навстречу разъярённой рыси.

Глава 4

Стена мира

К тому времени, когда мать стала оставлять пещеру и уходить на охоту, волчонок уже постиг закон, согласно которому ему запрещалось приближаться к выходу из логовища. Закон этот много раз внушала ему мать, толкая его то носом, то лапой, да и в нём самом начинал развиваться инстинкт страха. За всю свою короткую жизнь в пещере он ни разу не встретил ничего такого, что могло испугать его, — и всё-таки он знал, что такое страх. Страх перешёл к волчонку от отдалённых предков, через тысячу тысяч жизней. Это было наследие, полученное им непосредственно от Одноглазого и волчицы; но и к ним, в свою очередь, оно перешло через все поколения волков, бывших до них. Страх — наследие Северной глуши, и ни одному зверю не дано от него избавиться или променять его на чечевичную похлёбку!

Итак, серый волчонок знал страх, хотя и не понимал его сущности. Он, вероятно, примирился с ним, как с одной из преград, которые ставит жизнь. А в том, что такие преграды существуют, ему уже пришлось убедиться: он испытал голод и, не имея возможности утолить его, наткнулся на преграду своим желанием. Плотные стены пещеры, резкие толчки носом, которыми наделяла его мать, сокрушительный удар её лапы, неутолённый голод выработали в нём уверенность, что не всё в мире дозволено, что в жизни существует множество ограничений и запретов. И эти ограничения и запреты были законом. Повиноваться им — значило избегать боли и всяких жизненных осложнений.

Волчонок не размышлял обо всём этом так, как размышляют люди. Он просто разграничил окружающий мир на то, что причиняет боль, и то, что боли не причиняет, и, разграничив, старался избегать всего, причиняющего боль, то есть запретов и преград, и пользоваться только наградами и радостями, которые даёт жизнь.

Вот почему, повинаясь закону, внушённому матерью, повинаясь неведомому закону страха, волчонок держался подальше от выхода из пещеры. Выход всё ещё казался ему светлой белой стеной. Когда матери в пещере не было, он большей частью спал, а просыпаясь, лежал тихо и сдерживал жалобное повизгивание, которое щекотало ему горло и рвалось наружу.

Проснувшись однажды, он услышал у белой стены непривычные звуки. Он не знал, что это была россомаха, которая остановилась у входа в пещеру и, трепеща от собственной дерзости, осторожно принюхивалась к идущим оттуда запахам. Волчонок понимал только одно: звуки были непривычные, странные, а значит, неизвестные и страшные, — ведь неизвестное было одним из основных элементов, из которых складывался страх.

Шерсть на спине у волчонка встала дыбом, но он молчал. Почему он догадался, что в ответ на эти звуки надо оцетиниться? У него не было такого опыта в прошлом, — и всё же так проявлялся в нём страх, которому нельзя было найти объяснения в прожитой

жизни. Но страх сопровождался ещё одним инстинктивным желанием — желанием притаиться, спрятаться. Волчонок охватил ужас, но он лежал без звука, без движения, застыв, окаменев, — лежал, как мёртвый. Вернувшись домой и учуяв следы россомахи, его мать зарычала, бросилась в пещеру и с необычной для неё нежностью принялась лизать и ласкать волчонка. И волчонок понял, что ему удалось избежать сильной боли.

Но в нём действовали и другие силы, главной из которых был рост. Инстинкт и закон требовали от него повиновения, а рост требовал неповиновения. Мать и страх заставляли держаться подальше от белой стены, но рост есть жизнь, а жизни положено вечно тянуться к свету, — и никакими преградами нельзя было остановить волну жизни, поднимающейся в нём, поднимающейся с каждым съеденным куском мяса, с каждым глотком воздуха. И наконец страх

и послушание были отброшены в сторону напором жизни, и в один прекрасный день волчонок неверными, робкими шагами направился к выходу из пещеры.

В противоположность другим стенам, с которыми ему приходилось сталкиваться, эта стена, казалось, отступала всё дальше и дальше, по мере того как он приближался к ней. Испытующе вытянув вперёд свой маленький нежный нос, он ждал, что натолкнётся на твёрдую поверхность, но стена оказалась такой же прозрачной и проницаемой, как свет. Волчонок вошёл в то, что мнилось ему стеной, и погрузился в составляющее её вещество.

Это сбивало его с толку: ведь он полз сквозь что-то твёрдое! А свет становился всё ярче и ярче. Страх гнал волчонка назад, но крепнущая жизнь заставляла идти дальше. А вот и выход из пещеры. Стена, внутри которой, как ему мнилось, он находился, неожиданно отошла неизмеримо далеко. От яркого света стало больно глазам, он ослеплял волчонка; внезапно раздвинувшееся пространство кружило ему голову. Глаза понемногу привыкали к яркому свету и приноравливались к увеличившемуся расстоянию между предметами. Сначала стена отодвинулась так далеко, что потерялась из виду. Теперь он снова разглядел её, но она отступила вдаль и выглядела уже совсем по-другому. Стена стала пёстрой: в неё входили деревья, окаймляющие ручей, и гора, возвышающаяся позади деревьев, и небо, которое было ещё выше горы.

На волчонка напал ужас. Неизвестных и грозных вещей стало ещё больше. Он съёжился у входа в пещеру и стал смотреть на открывшийся перед ним мир. Как страшно! Всё неизвестное казалось ему враждебным. Шерсть у него на спине встала дыбом; он оскалил зубы, пытаясь издать яростное, устрашающее рычание. Крошечный испуганный зверёныш бросал вызов и грозил всему миру.

Однако всё обошлось благополучно. Волчонок продолжал смотреть и от любопытства даже позабыл, что надо рычать, забыл даже про свой испуг. Жизнь, крепнущая в нём, на время победила страх, и страх уступил место любопытству. Волчонок начал различать то, что было у него перед глазами: открытую часть ручья, сверкающего на солнце, засохшую сосну около откоса и самый откос, поднимающийся прямо к пещере, у входа в которую он примостился.

До сих пор серый волчонок жил на ровной поверхности, ему ещё не приходилось испытывать ушибы от падений — да он и не знал, что такое падение, — поэтому он смело шагнул прямо в воздух. Задние ноги у него задержались на выступе у входа в пещеру, так что он упал головой вниз. Земля больно стукнула его по носу, он жалобно тьякнул и тут же вслед за этим покатился кубарем по откосу. На него напал панический страх. Неизвестное наконец овладело им, оно держало его в своей власти и готовилось причинить ему невыносимую боль. Жизнь, крепнущая в нём, снова уступила место страху, и он завизжал, как завизжал бы всякий перепуганный щенок.

Неизвестное грозило ему; он ещё не мог понять — чем, и выл и визжал, не переставая. Это было куда хуже, чем лежать, замирая от страха, когда неизвестное только промелькнуло мимо него. Теперь оно завладело им целиком. Молчание ничему не поможет. Кроме того, теперь его терзал уже не страх, а ужас.

Но откос становился всё более пологим, а у его подножия росла трава. Скорость падения уменьшилась. Остановившись наконец, волчонок отчаянно взвыл, потом заскулил протяжно и жалобно; а вслед за тем, как ни в чём не бывало, точно ему уже тысячу раз приходилось заниматься своим туалетом, принялся слизывать приставшую к бокам сухую глину.

Покончив с этим, он сел и осмотрелся по сторонам — так же, как это сделал бы первый человек, попавший с Земли на Марс. Волчонок пробился сквозь стену мира, неизвестное выпустило его из своих объятий, и он остался невредимым. Но первый человек на Марсе встретил бы гораздо меньше необычного для себя, чем волчонок здесь на земле. Без всякого

предварительного знания, без всякой подготовки он очутился в роли исследователя совершенно незнакомого ему мира.

Теперь, когда страшная неизвестность отпустила волчонка на свободу, он забыл обо всех её ужасах. Он испытывал лишь любопытство ко всему, что его окружало. Он осмотрел траву под собой, кустик брусники чуть подальше, ствол засохшей сосны, которая стояла на краю полянки, окружённой деревьями. Белка выбежала из-за сосны прямо на волчонка и привела его в ужас.

Он припал к земле и зарычал. Но белка перепугалась ещё больше; она быстро вскарабкалась на дерево и, очутившись в безопасности, сердито зацокала оттуда.

Это придало волчонку храбрости, и хотя дятел, с которым ему пришлось вслед за тем встретиться, заставил его вздрогнуть, он уверенно продолжал свой путь. Уверенность эта возросла до такой степени, что, когда какая-то дерзкая птица подскочила к волчонку, он, играя, протянул к ней лапу. В ответ на это птица больно клюнула его в нос; он весь сжался и завизжал. Птица испугалась его визга и тут же упорхнула.

Волчонок учился. Его маленький, слабый мозг хоть и бессознательно, но сделал вывод. Вещи бываю! живые и неживые. И живых вещей надо остерегаться. Неживые всегда остаются на месте, а живые двигаются, и никогда нельзя знать заранее, что они могут сделать. От них надо ждать всяких неожиданностей, с ними надо быть начеку.

Волчонок шагал неуклюже, он то и дело натёкался на что-нибудь. Ветка, которая, казалось, была так далеко, задевала его по носу или хлестала по бокам; земля была неровная. Он спотыкался, ушибал нос, лапы. Мелкие камни выскальзывали у него из-под ног, лишь только он наступал на них. И наконец волчонок понял, что не все неживые вещи находятся в состоянии устойчивого равновесия, как его пещера, и что маленькие неживые вещи гораздо чаще падают и переворачиваются, чем большие. С каждой своей ошибкой волчонок узнавал всё больше и больше. Чем дальше он шёл, тем твёрже становился его шаг. Он приспособливался. Он учился рассчитывать свои движения, приравниваться к своим физическим возможностям, измерять расстояние между различными предметами, а также между ними и собой.

Удача всегда сопутствует новичкам. Рождённый, чтобы стать охотником (хотя сам он и не знал этого), волчонок напал на дичь сразу около пещеры, в первую же свою вылазку на свет божий. Искусно спрятанное гнездо куропатки попало ему только вследствие его же собственной неловкости: он свалился на него. Он попробовал пройти по стволу упавшей сосны; гнилая кора подалась под его ногами, и он с отчаянным визгом сорвался с круглого ствола, упал на куст и, пролетев сквозь листву и ветви, очутился прямо в гнезде, где сидели семь птенцов куропатки.

Птенцы запищали, и волчонок сначала испугался; потом, увидев, что они совсем маленькие, он осмелел. Птенцы двигались. Он примял одного лапой, и тот затрепыхался ещё сильнее. Волчонку это очень понравилось. Он обнюхал птенца, взял его в рот. Птенец бился и щекотал ему язык. В ту же минуту волчонок почувствовал голод. Челюсти его сомкнулись, птичьи косточки хрустнули, и он почувствовал на языке тёплую кровь. Кровь оказалась очень вкусной. В зубах у него была дичь, такая же дичь, какую ему приносила мать, только гораздо вкуснее, потому что она была живая. Волчонок съел птенца и остановился только тогда, когда покончил со всем выводком. Вслед за тем он облизнулся, точно так же, как это делала его мать, и стал выбираться из куста.

Его встретил крылатый вихрь. Стремительный натиск и яростные удары крыльев ослепили, ошеломили волчонка. Он уткнулся головой в лапы и завизжал. Удары посыпались с новой силой. Куропатка-мать была вне себя от ярости. Тогда волчонок разозлился. Он вскочил с рычанием и начал отбиваться лапами, потом запустил свои мелкие зубы в крыло птицы и принялся что есть силы дёргать и таскать её из стороны в сторону. Куропатка рвалась, ударяя его другим крылом.

Это была первая схватка волчонка. Он ликовал. Он забыл весь свой страх перед неизвестным и уже ничего не боялся. Он рвал и бил живое существо, которое наносило ему удары. Кроме того, это живое существо было мясо. Волчонком овладела жажда крови. Он только что уничтожил семь маленьких живых существ. Сейчас он уничтожит большое живое существо. Он был слишком поглощён дракой и слишком счастлив, чтобы ощущать своё счастье. Он весь дрожал от возбуждения, которого до сих пор ему никогда не приходилось испытывать. Он не выпускал крыла и рычал сквозь стиснутые зубы. Куропатка вытащила его из куста. Когда же она попыталась втащить его туда обратно, он выволок её на открытое место. Птица кричала и била его свободным крылом, а перья её разлетались по воздуху, как снежные хлопья. Волчонок уже не помнил себя от ярости, воинственная кровь предков поднялась и забушевала в нём. Сам того не ощущая, волчонок жил в эти минуты полной жизнью. Он выполнял предназначенную ему роль, делал то дело, для которого был рождён, — убивал добычу и дрался, прежде чем убить её. Он оправдывал своё существование, выполняя высшее назначение жизни, потому что жизнь достигает своих вершин в те минуты, когда все её силы устремляются на осуществление поставленных перед ней целей.

Наконец птица перестала бороться. Волчонок всё ещё держал её за крыло. Они лежали на земле и смотрели друг на друга. Он попробовал яростно и угрожающе зарычать. Куропатка клюнула его в нос, и без того болевший. Волчонок вздрогнул, но не выпустил крыла. Птица клюнула его ещё и ещё раз. Он завизжал и попятился, не сообразив, что вместе с крылом потащит за собой и птицу. Град ударов посыпался на его многострадальный нос. Воинственный пыл волчонка погас. Выпустив добычу, он со всех ног пустился в бесславное бегство на другую сторону поляны и лёг там возле кустарника, тяжело дыша, высунув язык и жалобно повизгивая. И вдруг предчувствие неминуемой беды сжало ему сердце. Неизвестное со всеми своими ужасами снова обрушилось на волчонка. Он инстинктивно отпрянул под защиту куста. На него пахнуло ветром, и большое крылатое тело в зловещем молчании пронеслось мимо: ястреб, ринувшийся на волчонка из поднебесья, промахнулся.

Пока волчонок лежал под кустом и, мало-помалу приходя в себя, начинал боязливо выглядывать оттуда, на другой стороне поляны из разорённого гнезда выпорхнула куропатка, — горе утраты заставило её забыть о крылатой молнии небес. Но волчонок всё видел, и это послужило ему предостережением и уроком. Он видел, как ястреб камнем упал вниз, пронёсся над землёй, почти задевая траву крыльями, вонзил когти в куропатку, пронзительно вскрикнувшую от смертельной боли и ужаса, и взмыл ввысь, унося её с собой.

Волчонок долго не выходил из своего убежища. Он познал многое. Живые существа — это мясо, они приятны на вкус. Но большие живые существа причиняют боль. Надо есть маленьких — таких, как птенцы куропатки, а с большими, как сама куропатка, лучше не связываться. И всё же его самолюбие было ущемлено. Ему вдруг захотелось ещё раз схватиться с большой птицей, — жаль, что ястреб унёс её. А может быть, найдутся другие куропатки? Надо пойти поискать.

Волчонок спустился по отлогому берегу к ручью. Воды он до сих пор ещё не видал. На первый взгляд она была вполне надёжная, ровная. Он смело шагнул вперёд и, визжа от страха, пошёл ко дну, прямо в объятия неизвестного. Стало холодно, у него перехватило дыхание. Вместо воздуха, которым он привык дышать, в лёгкие хлынула вода. Удушье сдавило ему горло, как смерть. Для волчонка оно было равносильно смерти. Он не знал, что такое смерть, но, как и все жители Северной глуши, боялся её. Она была для него олицетворением самой страшной боли. В ней таилась самая сущность неизвестного, совокупность всех его ужасов. Это была последняя, непоправимая беда, которой он страшился, хоть и не мог представить её себе до конца.

Волчонок выбрался на поверхность и всей пастью глотнул свежего воздуха. На этот раз он не пошёл ко дну. Он ударил всеми четырьмя лапами, словно это было для него самым привычным делом, и поплыл. Ближний берег находился в каком-нибудь ярде от волчонка, но он вынырнул спиной к нему и, увидев дальний, сейчас же устремился туда. Ручей был узкий, но как раз в этом месте разливался широкой заводью.

На середине волчонка подхватило и понесло вниз по течению, прямо на маленькие пороги, начинавшиеся там, где русло снова сужалось. Плыть здесь было трудно. Спокойная вода вдруг забурлила. Волчонок то выбивался на поверхность, то уходил с головой под воду. Его кидало из стороны в сторону, переворачивало то на бок, то на спину, ударяло о камни. При каждом таком ударе он взвизгивал, и по этим визгам можно было сосчитать, сколько подводных камней попало ему на пути.

Ниже порогов, где берега снова расширялись, волчонок попал в водоворот, который легонько отнёс его к берегу и так же легонько положил на отмель. Он выкарабкался из воды и лёг. Его знакомство с внешним миром продолжалось. Вода была неживая и всё-таки двигалась!

Кроме того, на первый взгляд она казалась твёрдой, как земля, на самом же деле твёрдости в ней не было и в помине. И волчонок пришёл к выводу, что вещи не всегда таковы, какими кажутся. Страх перед неизвестным, бывший не чем иным, как унаследованным от предков недоверием к окружающему миру, только усилился после столкновения с действительностью. Отныне в нём на всю жизнь укоренится это недоверие к внешнему виду вещей. И, прежде чем довериться им, он постарается узнать, каковы они на самом деле.

В этот день волчонку было суждено испытать ещё одно приключение. Он вдруг вспомнил, что у него есть мать, и почувствовал, что она нужна ему больше всего на свете. От всех перенесённых испытаний у него устало не только тело — устал и мозг. За всю предыдущую жизнь мозгу его не приходилось так работать, как за один этот день. К тому же волчонку захотелось спать. И он отправился на поиски пещеры и матери, испытывая гнетущее чувство одиночества и полной беспомощности.

Пробираясь сквозь кустарник, волчонок вдруг услышал пронзительный свирепый крик. Перед глазами у него промелькнуло что-то жёлтое. Он увидел метнувшуюся в кусты ласку. Ласка была маленькая, и волчонок не испугался её. Потом у самых своих ног он увидел живое существо, совсем крохотное, — это был детёныш ласки, который, так же как и волчонок, убежал из дому и отправился путешествовать. Крохотная ласка хотела было юркнуть в траву. Волчонок перевернул её на спину. Ласка пискнула — голос у неё был скрипучий. В ту же минуту перед глазами у волчонка снова пронеслось жёлтое пятно. Он услышал свирепый крик, что-то сильно ударило его по голове, и острые зубы ласки-матери впились ему в шею.

Пока он с визгом и воем пятился назад, ласка подбежала к своему детёнышу и скрылась с ним в кустах. Боль от укуса всё ещё не проходила, но боль от обиды давала себя чувствовать ещё сильнее, и волчонок сел и тихо заскулил. Ведь ласка-мать была такая маленькая, а кусалась так больно! Волчонок ещё не знал, что маленькая ласка — один из самых свирепых, мстительных и страшных хищников Северной глуши, но скоро ему предстояло узнать это.

Он ещё не перестал скулить, когда ласка-мать снова появилась перед ним. Она не бросилась на него сразу, потому что теперь её детёныш был в безопасности. Она приближалась осторожно, так что он мог рассмотреть её тонкое, змеиное тельце и высоко поднятую змеиную головку. В ответ на резкий, угрожающий крик ласки шерсть на спине у волчонка поднялась дыбом, он зарычал. Она подходила всё ближе и ближе. И вдруг прыжок, за которым он не мог уследить своим неопытным глазом, — тонкое жёлтое тело на одну секунду исчезло из его поля зрения, и ласка вцепилась ему в горло, глубоко прокусив шкуру.

Волчонок рычал, отбивался, но он был очень молод, это был его первый выход в мир, и

поэтому рычание его перешло в визг, и он уже не дрался, а старался вырваться из зубов ласки и убежать. Но ласка не отпускала волчонка. Продолжая висеть у него на шее, она добиралась до вены, где пульсирует жизнь. Ласка любила кровь и предпочитала сосать её прямо из горла — средоточия жизни.

Серого волчонка ждала верная гибель, и рассказ о нём остался бы ненаписанным, если бы из-за кустов не выскочила волчица. Ласка выпустила его и метнулась к горлу волчицы, но, промахнувшись, вцепилась ей в челюсть. Волчица взмахнула головой, как бичом, зубы ласки сорвались, и она взлетела высоко в воздух. Не дав тонкому жёлтому тельцу даже опуститься на землю, волчица подхватила его на лету, и ласка встретила свою смерть на её острых зубах.

Новый прилив материнской нежности послужил наградой волчонку. Мать радовалась ещё больше, чем сын. Она легонько подкидывала его носом, зализывала ему раны. А потом оба они поделили между собой кровопийцу-ласку, съели её, вернулись в пещеру и легли спать.

Глава 5

Закон добычи

Волчонок развивался с поразительной быстротой. Два дня он отдыхал, а затем снова отправился путешествовать. В этот свой выход он встретил молодую ласку, мать которой была съедена с его помощью, и позаботился, чтобы детёныш отправился вслед за матерью. Но теперь он уже не плутал и, устав, нашёл дорогу к пещере и лёг спать. После этого волчонок каждый день отправлялся на прогулку и с каждым разом заходил всё дальше и дальше.

Он привык точно соразмерять свою силу и слабость, соображая, когда надо проявить отвагу, а когда — осторожность. Оказалось, что осторожность следует соблюдать всегда, за исключением тех редких случаев, когда уверенность в собственных силах позволяет дать волю злобе и жадности.

При встречах с куропатками волчонок становился сущим дьяволом. Точно так же не упускал он случая ответить злобным рычанием на трескотню белки, которая попалась ему впервые около засохшей сосны. И один только вид птицы, напоминавшей ему ту, что клюнула его в нос, почти неизменно приводил его в бешенство.

Но бывало и так, что волчонок не обращал внимания даже на птиц, и это случалось тогда, когда ему грозило нападение других хищников, которые так же, как он, рыскали в поисках добычи. Волчонок не забыл ястреба и, завидев его тень, скользящую по траве, прятался подальше в кусты. Лапы его больше не разъезжались на ходу в разные стороны, — он уже перенял от матери её лёгкую, бесшумную походку, быстрота которой была неприметна для глаза.

Что касается охоты, то удачи его кончились с первым же днём. Семь птенцов куропатки и маленькая ласка — вот и вся добыча волчонка. Но жажда убивать крепла в нём день ото дня, и он лелеял мечту добраться когда-нибудь до белки, которая своей трескотнёй извещала всех обитателей леса о его приближении. Но белка с такой же лёгкостью лазала по деревьям, с какой птицы летали по воздуху, и волчонку оставалось только одно: незаметно подкрадываться к ней, пока она была на земле.

Волчонок питал глубокое уважение к своей матери. Она умела добывать мясо и никогда не забывала принести сыну его долю. Больше того — она ничего не боялась. Волчонку не приходило в голову, что это бесстрашие — плод опыта и знания. Он думал, что бесстрашие есть выражение силы. Мать была олицетворением силы; и, подрастая, он ощутил эту силу и в более резких ударах её лапы и в том, что толчки носом, которыми мать наказывала его прежде, заменились теперь свирепыми укусами. Это тоже внушало волчонку уважение к матери. Она требовала от него покорности, и чем больше он подрастал, тем суровее становилось её обращение с ним.

Снова наступил голод, и теперь волчонок уже вполне сознательно испытывал его муки. Волчица совсем отошла в поисках пищи. Проводя почти всё время на охоте и большей частью безуспешно, она редко приходила спать в пещеру. На этот раз голодовка была недолгая, но свирепая. Волчонок не мог высосать ни капли молока из материнских сосков, а мяса ему уже давно не перепало.

Прежде он охотился ради забавы, ради того удовольствия, которое доставляет охота, теперь же принялся за это по-настоящему, и всё-таки ему не везло. Но неудачи лишь способствовали развитию волчонка. Он с ещё большей старательностью изучал повадки белки и прилагал ещё больше усилий к тому, чтобы подкрасться к ней незамеченным. Он выслеживал полевых мышей и учился выкапывать их из норок, узнал много нового о дятлах и других птицах. И вот наступило

время, когда волчонок уже не забирался в кусты при виде скользящей по земле тени ястреба. Он стал сильнее, опытнее, чувствовал в себе большую уверенность. Кроме того, голод ожесточил его. Теперь он садился посреди поляны на самом видном месте и ждал, когда ястреб спустится к нему. Там, над ним, в синеве неба летала пища — пища, которой так настойчиво требовал его желудок. Но ястреб отказывался принять бой, и волчонок забирался в чащу, жалобно скуля от разочарования и голода.

Голод кончился. Волчица принесла домой мясо. Мясо было необычное, совсем не похожее на то, которое она приносила раньше. Это был детёныш рыси, уже подросший, но не такой крупный, как волчонок. И всё мясо целиком предназначалось волчонку. Мать уже успела утолить свой голод, хотя сын её и не подозревал, что для этого ей понадобился весь выводок рыси. Не подозревал он и того, какой отчаянный поступок пришлось совершить матери. Волчонок знал только одно: молоденькая рысь с бархатистой шкуркой была мясом; и он ел это мясо, наслаждаясь каждым проглоченным куском.

Полный желудок располагает к покою, и волчонок прилёг в пещере рядом с матерью и заснул. Его разбудил её голос. Никогда ещё волчонок не слышал такого страшного рычания. Возможно, за всю свою жизнь его мать никогда не рычала страшнее. Но для такого рычания повод был, и никто не знал этого лучше, чем сама волчица. Выводок рыси нельзя уничтожить безнаказанно.

В ярких лучах полуденного солнца волчонок увидел самку-рысь, припавшую к земле у входа в пещеру. Шерсть у него на спине поднялась дыбом. Ужас смотрел ему в глаза, — он понял это, не дожидаясь подсказки инстинкта. И если бы даже вид рыси был недостаточно грозен, то ярость, которая послышалась в её хриплом визге, внезапно сменившем рычание, говорила сама за себя.

Жизнь, крепнущая в волчонке, словно подтолкнула его вперёд. Он зарычал и храбро занял место рядом с матерью. Но его позорно оттолкнули назад. Низкий вход не позволял рыси сделать прыжок, она скользнула в пещеру, но волчица ринулась ей навстречу и прижала её к земле. Мало что удалось волчонку разобрать в этой схватке. Он слышал только рёв, фырканье и пронзительный визг. Оба зверя катались по земле; рысь рвала свою противницу зубами и когтями, а волчица могла пускать в ход только зубы.

Волчонок подскочил к рыси и с яростным рычанием вцепился ей в заднюю ногу. Тяжестью своего тела он, сам того не подозревая, мешал её движениям и помогал матери. Борьба приняла новый оборот: сражающиеся подмяли под себя волчонка, и ему пришлось разжать зубы. Но вот обе матери отскочили друг от друга, и рысь, прежде чем снова сцепиться с волчицей, ударила волчонка своей могучей лапой, разорвала ему плечо до самой кости и отбросила его к стене. Теперь к рёву сражающихся прибавился жалобный плач. Но схватка так затянулась, что у волчонка было достаточно времени, чтобы наплакаться вдоволь и испытать новый прилив мужества. И к концу схватки он снова вцепился в заднюю ногу рыси, яростно рыча сквозь сжатые челюсти.

Рысь была мертва. Но и волчица ослабела от полученных ран. Она принялась было ласкать волчонка и лизать ему плечо, но потеря крови лишила её сил, и весь этот день и всю ночь она пролежала около своего мёртвого врага, не двигаясь и еле дыша. Следующую неделю, выходя из пещеры только для того, чтобы напиться, волчица еле передвигала ноги, так как каждое движение причиняло ей боль. А потом, когда рысь была съедена, раны волчицы уже настолько зажили, что она могла снова начать охоту.

Плечо у волчонка всё ещё болело, и он ещё долго ходил прихрамывая. Но за это время его отношение к миру изменилось. Он держался теперь с большей уверенностью, с чувством гордости, незнакомой ему до схватки с рысью. Он убедился, что жизнь сурова; он участвовал в

битве; он вонзил зубы в тело врага и остался жив. И это придало ему смелости, в нём появился даже задор, чего раньше не было. Он перестал робеть и уже не боялся мелких зверьков, но неизвестное с его тайнами и ужасами по-прежнему властвовало над ним и не переставало угнетать его.

Волчонок стал сопровождать волчицу на охоту, много раз видел, как она убивает дичь, и сам принимал участие в этом. Он смутно начинал постигать закон добычи. В жизни есть две породы: его собственная и чужая. К первой принадлежит он с матерью, ко второй — все остальные существа, обладающие способностью двигаться. Но и они, в свою очередь, не едины. Среди них существуют не хищники и мелкие хищники — те, кого убивают и едят его сородичи; и существуют враги, которые убивают и едят его сородичей или сами попадают к им. Из этого разграничения складывался закон. Цель жизни — добыча. Сущность жизни — добыча. Жизнь питается жизнью. Всё живое в мире делится на тех, кто ест, и тех, кого едят. И закон этот говорил: ешь, или съедят тебя самого. Волчонок не мог ясно и чётко сформулировать этот закон и не пытался сделать из него вывод. Он даже не думал о нём, а просто жил согласно его велениям.

Действие этого закона волчонок видел повсюду. Он съел птенцов куропатки. Ястреб съел их мать и хотел съесть самого волчонка. Позднее, когда волчонок подрос, ему захотелось съесть ястреба. Он съел маленькую рысь. Мать-рысь съела бы волчонка, если бы сама не была убита и съедена. Так оно и шло. Всё живое вокруг Волчонка жило согласно этому закону, крохотной частицей которого являлся и он сам. Он был хищником. Он питался только мясом, живым мясом, которое убегало от него, взлетало на воздух, карабкалось по деревьям, пряталось под землю или вступало с ним в бой, а иногда и обращало его в бегство.

Если бы волчонок умел мыслить, как человек, он, возможно, пришёл бы к выводу, что жизнь — это неутомимая жажда насыщения, а мир — арена, где сталкиваются все те, кто, стремясь к насыщению, преследует друг друга, охотится друг за другом, поедает друг друга; арена, где льётся кровь, где царит жестокость, слепая случайность и хаос без начала и конца.

Но волчонок не умел мыслить, как человек, и не обладал способностью к обобщениям. Поставив себе какую-нибудь одну цель, он только о ней и думал, только её одной и добивался. Кроме закона добычи, в жизни волчонка было множество других, менее важных законов, которые всё же следовало изучить, и, изучив, повиноваться им. Мир был полон неожиданностей. Жизнь, играющая в волчонке, силы, управляющие его телом, служили ему неиссякаемым источником счастья. Погоня за добычей заставляла его дрожать от наслаждения. Ярость и битвы приносили с собой одно удовольствие. И даже ужасы и тайны неизвестного помогали ему жить.

Кроме этого, в жизни было много других приятных ощущений. Полный желудок, ленивая дремота на солнышке — всё это служило волчонку наградой за его рвение и труды, а рвение и труды сами по себе доставляли ему радость. И волчонок жил в ладу с окружающей его враждебной средой. Он был полон сил, он был счастлив и гордился собой.

Глава 1

Творцы огня

Волчонок наткнулся на это совершенно неожиданно. Всё произошло по его вине. Осторожность — вот что было забыто. Он вышел из пещеры и побежал к ручью напиться. Причиной его оплошности, возможно, было ещё и то, что ему хотелось спать. (Вся ночь прошла на охоте, и волчонок только что проснулся.) Но ведь дорога к ручью была ему так хорошо знакома! Он столько раз бегал по ней, и до сих пор всё сходило благополучно.

Волчонок спустился по тропинке к засохшей сосне, пересёк полянку и побежал между деревьями. И вдруг он одновременно увидел и почувствовал что-то незнакомое. Перед ним молча сидели на корточках пять живых существ, — таких ему ещё не приходилось видеть. Это была первая встреча волчонка с людьми. Но люди не вскочили, не оскалили зубов и не зарычали на него. Они не двигались и продолжали сидеть на корточках, храня зловещее молчание.

Не двигался и волчонок. Повинуясь инстинкту, он, не раздумывая, кинулся бы бежать от них, но впервые за всю его жизнь в нём внезапно возникло другое, совершенно противоположное чувство: волчонок обьял трепет. Сознание собственной слабости и ничтожества лишило его способности двигаться. Перед ним были власть и сила, неведомые ему до сих пор.

Волчонок никогда ещё не видел человека, но инстинктивно понял всё его могущество. Где-то в глубине его сознания возникла уверенность, что это живое существо отвоевало себе право первенства у всех остальных обитателей Северной глуши. На человека сейчас смотрела не одна пара глаз — на него уставились глаза всех предков волчонка, круживших в темноте около бесчисленных зимних стоянок, приглядывавшихся издали, из-за густых зарослей, к странному двуногому существу, которое слало властителем над всеми другими живыми существами. Волчонок очутился в плену у своих предков, в плену благоговейного страха, рождённого вековой борьбой и опытом, накопленным поколениями. Это наследие подавило волка, который был всего-навсего волчонок. Будь он постарше, он бы убежал. Но сейчас он припал к земле, скованный страхом и готовый изъяснить ту покорность, с которой его отдалённый предок шёл к человеку, чтобы погреться у разведённого им костра.

Один из индейцев встал, подошёл к волчонку и нагнулся над ним. Волчонок ещё ниже припал к земле. Неизвестное обрело наконец плоть и кровь, приблизилось к нему и протянуло руку, собираясь схватить его. Шерсть у волчонка поднялась дыбом, губы дрогнули, обнажив маленькие клыки. Рука, нависшая над ним, на минуту задержалась, и человек сказал со смехом:

— Вабам вабиска им пит та! (Смотрите! Какие белые клыки!)

Остальные громко рассмеялись и стали подзадоривать индейца, чтобы он взял волчонка. Рука опускалась всё ниже и ниже, а в волчонке бушевали два инстинкта: один внушал, что надо покориться, другой толкал на борьбу. В конце концов волчонок пошёл на сделку с самим собой. Он послушался обоих инстинктов: покорялся до тех нор, пока рука не коснулась его, а потом решил бороться и схватил её зубами. И сейчас же вслед за тем удар по голове свалил его на бок. Всякая охота бороться пропала. Волчонок превратился в покорного щенка, сел на задние лапы и заскулил. Но человек, которого он укусил за руку, рассердился. Волчонок получил второй удар по голове и, поднявшись на ноги, заскулил ещё громче прежнего.

Индейцы рассмеялись, и даже тот, с укушенной рукой, присоединился к их смеху. Всё ещё смеясь, они окружили волчонка, продолжавшего выть от боли и ужаса.

И вдруг он насторожился. Индейцы тоже насторожились. Волчонок узнал этот голос и, издав последний протяжный вопль, в котором звучало скорее торжество, чем горе, смолк и стал

ждать появления матери — своей неустрашимой, свирепой матери, которая умела сражаться с противниками, умела убивать их и никогда ни перед кем не трусила. Волчица приближалась с громким рычанием: она услышала крики своего детёныша и бежала к нему на помощь.

Волчица бросилась к людям. Разъярённая, готовая на всё, она являла собой малоприятное зрелище, но волчонка её спасительный гнев только обрадовал.

Он взвизгнул от счастья и кинулся ей навстречу, а люди быстро отступили на несколько шагов назад. Волчица стала между своим детёнышем и людьми. Шерсть на ней поднялась дыбом, в горле клокотало яростное рычание, губы и нос судорожно подёргивались.

И вдруг один из индейцев крикнул:

— Кичи!

В этом возгласе слышалось удивление. Волчонок почувствовал, как мать съёжилась при звуке человеческого голоса.

— Кичи! — снова крикнул индеец, на этот раз резко и повелительно.

И тогда волчонок увидел, как волчица, его бесстрашная мать, припала к земле, коснувшись её брюхом, и завилыла хвостом, повизгивая и прося мира. Волчонок ничего не понял. Его охватил ужас. Он снова затрепетал перед человеком. Инстинкт говорил ему правду. И мать подтвердила это. Она тоже выражала покорность людям.

Человек, сказавший «Кичи», подошёл к волчице. Он положил ей руку на голову, и волчица ещё ниже припала к земле. Она не укусила его, да и не собиралась это делать. Те четверо тоже подошли к ней, стали ощупывать и гладить её, но она не протестовала. Волчонок не сводил глаз с людей. Их рты издавали громкие звуки. В этих звуках не было ничего угрожающего. Волчонок прижался к матери и решил смириться, но шерсть у него на спине всё-таки стояла дыбом.

— Что же тут удивительного? — заговорил один из индейцев. — Отец у неё был волк, а мать собака. Ведь брат мой привязывал её весной на три ночи в лесу! Значит, отец Кичи был Волк.

— С тех пор как Кичи убежала, Серый Бобр, прошёл целый год, — сказал другой индеец.

— И тут нет ничего удивительного, Язык Лосося, — ответил Серый Бобр. — Тогда был голод, и собакам не хватало мяса.

— Она жила среди волков, — сказал третий индеец.

— Ты прав, Три Орла, — усмехнулся Серый Бобр, дотронувшись до волчонка, — и вот доказательство твоей правоты.

Почувствовав прикосновение человеческой руки, волчонок глухо зарычал, и рука отёрнулась назад, готовясь ударить его. Тогда он спрятал клыки и покорно приник к земле, а рука снова опустилась и стала почёсывать у него за ухом и гладить его по спине.

— Вот доказательство твоей правоты, — повторил Серый Бобр. — Кичи — его мать. Но отец у него был волк. Поэтому собачьего в нём мало, а волчьего много. У него белые клыки, и я дам ему кличку Белый Клык. Я сказал. Это моя собака. Разве Кичи не принадлежала моему брату? И разве брат мой не умер?

Волчонок, получивший имя, лежал и слушал. Люди продолжали говорить. Потом Серый Бобр вынул нож из ножен, висевших у него на шее, подошёл к кусту, и вырезал палку. Белый Клык наблюдал за ним. Серый Бобр сделал на обоих концах палки по зарубке и обвязал вокруг них ремни из сыромятной кожи. Один ремень он надел на шею Кичи, подвёл её к невысокой сосне и привязал второй ремень к дереву.

Белый Клык пошёл за матерью и улёгся рядом с ней. Язык Лосося протянул к волчонку руку и опрокинул его на спину. Кичи испуганно смотрела на них. Белый Клык почувствовал, как страх снова охватывает его. Он не удержался и зарычал, но кусаться уже не посмел. Рука с растопыренными крючковатыми пальцами стала почёсывать ему живо! и перекачивать с боку на

бок. Лежать на спине с задранными вверх ногами было глупо и унижительно. Кроме того, Белый Клык чувствовал себя совершенно беспомощным, и всё его существо восставало против такого унижения. Но что тут поделаешь? Если этот человек захочет причинить ему боль, он в его власти. Разве можно отскочить в сторону, когда все четыре ноги болтаются в воздухе? И всё-таки покорность взяла верх над страхом, и Белый Клык ограничился тихим рычанием. Рычания он не смог подавить, но человек не рассердился и не ударил его по голове. И, как это ни странно, Белый Клык испытывал какое-то необъяснимое удовольствие, когда рука человека гладила его по шерсти взад и вперёд. Перевернувшись на бок, он перестал рычать. Пальцы начали скрести и почёсывать у него за ухом, и от этого приятное ощущение только усилилось. И когда наконец человек погладил его в последний раз и отошёл, Белый Клык окончательно приободрился. Ему предстояло ещё не один раз испытан, страх перед человеком, но дружеские отношения между ними зародились в эти минуты.

Спустя немного Белый Клык услышал приближение каких-то странных звуков. Он быстро догадался, что звуки эти исходят от людей. На тропинку вереницей вышло всё индейское племя, перекочёвывавшее на новое место. Их было человек сорок — мужчин, женщин, детей, сгибавшихся под тяжестью лагерного скарба. С ними шло много собак; и все собаки, кроме щенят, тоже были нагружены разной поклажей. Каждая собака несла на спине мешок с вещами фунтов в двадцать, — тридцать весом.

Белый Клык никогда ещё не видал собак, но сразу почувствовал, что они мало чем отличаются от его собственной породы. Учуяв волчонка и его мать, собаки сейчас же доказали, как незначительна эта разница. Началась свалка. Весь оцетинившись, Белый Клык рычал и огрызался на окружившие его со всех сторон разверстые собачьи пасти; собаки повалили волчонка, но он не переставал кусать и рвать их за ноги и за брюхо, чувствуя в то же время, как собачьи зубы впиваются ему в тело. Поднялся оглушительный лай. Волчонок слышал рычание Кичи, рванувшейся ему на подмогу, слышал крики людей, удары палок и визг собак, которым доставались эти удары.

Через несколько секунд волчонок снова был на ногах. Он увидел, что люди отгоняют собак палками и камнями, защищая, спасая его от свирепых клыков этих существ, которые всё же чем-то отличались от волчьей породы. И хотя волчонок не мог ясно представить себе такого отвлечённого понятия, как справедливое возмездие, тем не менее он по-своему почувствовал справедливость человека и признал в нём существо, которое устанавливает закон и следит за его выполнением. Оценил он также способ, которым люди заставляют! подчиняться своим законам. Они не кусались и не пускали в ход когтей, как все прочие звери, а использовали силы неживых предметов. Неживые предметы подчинялись их воле: камни и палки, брошенные этими странными существами, летали по воздуху, как живые, и наносили собакам чувствительные удары.

Власть эта казалась Белому Клыку необычайной, божественной властью, она выходила за пределы всего мыслимого. Белый Клык по самой природе своей не мог даже подозревать о существовании богов, в лучшем случае он чувствовал, что есть вещи непостижимые. Но благоговение и трепет, которые ему внушали люди, были сродни тому благоговению и трепету, которые ощутил бы человек при виде божества, мечущего с горной вершины молнии на землю.

Но вот последняя собака отбежала в сторону, суматоха улеглась, и Белый Клык принялся зализывать раны, размышляя о своём первом приобщении к стае и о своём первом знакомстве с её жестокостью. До сих пор ему казалось, что вся их порода состоит из Одноглазого, матери и его самого. Они трое стояли особняком.

Но вдруг, совершенно внезапно, обнаружилось, что есть ещё много других существ, принадлежащих, очевидно, к его породе. И где-то в глубине сознания у волчонка появилось

чувство обиды на своих братьев, которые, едва завидев его, воспылали к нему смертельной ненавистью. Кроме того, он негодовал, что мать привязали к палке, хотя это и было сделано руками высшего существа. Тут попахивало капканом, неволей. Но что волчонок мог знать о капкане, о неволе? Свободу бродить, бегать, лежать, когда заблагорассудится, он унаследовал от предков. Теперь движения волчицы ограничивались длиной палки, и та же самая палка ограничивала и движения волчонка, потому что он ещё не мог обойтись без матери.

Волчонку это не нравилось, и когда люди поднялись и отправились в путь, он окончательно остался недоволен такими порядками, потому что какое-то маленькое человеческое существо взяло в руки палку, к которой была привязана Кичи, и повело её за собой, как пленницу, а за Кичи пошёл и Белый Клык, очень смущённый и обеспокоенный всем происходящим.

Они отправились вниз по речной долине, гораздо дальше тех мест, куда заходил в своих скитаниях Белый Клык, и дошли до самого конца её, где речка впадала в Маккензи. На берегу стояли пироги, поднятые на высокие шесты, лежали решётки для сушки рыбы. Индейцы разбили здесь стоянку. Белый Клык с удивлением осматривался вокруг себя. Могущество людей росло с каждой минутой. Он уже убедился в их власти над свирепыми собаками. Эта власть говорила о силе. Но ещё больше изумляла Белого Клыка власть людей над неживыми предметами, их способность изменять лицо мира. Это было самое поразительное. Вот люди установили шесты для вигвамов; тут, собственно, не было ничего примечательного, — это делали те же самые люди, которые умели бросать камни и палки. Однако, когда шесты обтянули кожей и парусиной и они стали вигвамами, Белый Клык окончательно растерялся.

Больше всего его поражали огромные размеры вигвамов. Они росли повсюду с чудовищной быстротой, словно какие-то живые существа. Они занимали почти всё поле зрения. Он боялся их. Вигвамы злоеще маячили в вышине, и когда ветер пробежал по стоянке, вздувая на них парусину и кожу, Белый Клык в страхе припадал к земле, не сводя глаз с этих громад и готовясь отскочить в сторону, как только они начнут валиться на него.

Но скоро Белый Клык привык к вигвамам. Он видел, что женщины и дети входят и выходят оттуда без всякого вреда для себя, что собакам тоже хочется проникнуть внутрь, но люди прогоняют их с бранью и швыряют камни им вслед. К концу дня Белый Клык оставил Кичи и осторожно подполз к ближайшему вигваму. Его подстрекала любознательность — потребность учиться жить, действовать и набираться опыта. Последние несколько шагов, отделявших его от стены вигвама, Белый Клык полз мучительно долго и осторожно. События этого дня уже подготовили его к тому, что неизвестное имеет склонность проявлять себя самым неожиданным, самым невероятным образом. Наконец его нос коснулся парусины. Белый Клык ждал, что будет. Ничего... всё обошлось благополучно. Тогда он понюхал это страшное вещество, пропитанное запахом человека, взял его зубами и слегка потянул к себе. Опять всё обошлось благополучно, хотя парусиновая стена и дрогнула. Он потянул ещё раз. Стена заколыхалась. Ему это очень понравилось. Он тянул всё сильнее и сильнее, пока вся стена не пришла в движение. Тогда в вигваме послышался резкий окрик индианки, и Белый Клык опрометью бросился к Кичи. Но с тех пор он перестал бояться высоких вигвамов.

Не прошло и пяти минут, как Белый Клык снова убежал от матери. Она была привязана к кольшку, вбитому в землю, и не могла пойти за своим детёнышем. К волчонку с воинственным видом приближался щенок гораздо старше и крупнее его. Щенка звали Лип-Лип, как это узнал позднее Белый Клык. Он уже был искушён в боях и слыл большим забиякой среди своих братьев.

Белый Клык признал в щенке существо своей породы, к тому же на вид совсем неопасное, и, не ожидая от него никаких враждебных действий, приготовился оказать ему дружеский приём. Но как только незнакомец оскалил зубы и весь подобрался, Белый Клык тоже подобрался и тоже

оскалил зубы. Ощетинившись и грозно рыча, волчонок и щенок стали кружить друг за другом, готовые ко всему. Это продолжалось довольно долго, и Белому Клыку такая игра начинала нравиться. И вдруг Лип-Лип сделал стремительный прыжок, рванул волчонка зубами и отскочил в сторону. Укус пришёлся как раз в то плечо, которое всё ещё болело у Белого Клыка после схватки с рысью, болело глубоко, около самой кости. Белый Клык взвыл от неожиданности и боли, но тут же с яростью кинулся на Лип-Липа и впился в него зубами.

Но Лип-Лип недаром родился в индейском посёлке и недаром участвовал в стольких драках со щенками. Новичку пришлось плохо от его мелких острых зубов, и он с визгом постыдно бежал пол, защиту матери. Это была первая схватка Белого Клыка с Лип-Липом, и таких схваток им предстояло много, потому что они с первой же встречи почувствовали глубокую врождённую ненависть друг к другу, которая приводила к непрерывным столкновениям.

Кичи ласково облизывала своего детёныша и старалась удержать его около себя, но любопытство Белого Клыка было ненасытно. Несколько минут спустя он снова отправился на разведку и натолкнулся на человека, которого звали Серым Бобром. Присев на корточки, Серый Бобр делал что-то с сухим мохом и палками, разложенными возле него на земле. Белый Клык подошёл поближе и стал наблюдать за ним. Серый Бобр издал какие-то звуки, в которых, как показалось Белому Клыку, не было ничего враждебного, и он подошёл ещё ближе.

Женщины и дети подносили Серому Бобру палки и сучья. По-видимому, готовилось что-то интересное. Любопытство Белого Клыка так разгорелось, что он подошёл к Серому Бобру вплотную, забыв, что перед ним находится грозное человеческое существо. И вдруг он увидел, что из-под рук Серого Бобра над сучьями и мохом поднимается что-то странное, похожее на туман. Потом из этого тумана, крутясь и извиваясь, возникло что-то живое, красное, как солнце в небе. Белый Клык не подозревал о существовании огня. Но огонь притягивал его к себе, как когда-то в пещере в дни младенчества его притягивал свет. Он подполз поближе, услышал над собой смех Серого Бобра и понял, что и в этих звуках нет ничего враждебного. Потом Белый Клык коснулся пламени носом и одновременно высунул язык.

В первую секунду он оцепенел. Притаившись среди сучьев и моха, неизвестное вцепилось ему в нос. Белый Клык отпрянул от огня, разразившись отчаянным визгом. Услышав этот визг, Кичи с рычанием рванулась вперёд, насколько позволяла палка, и заметалась в бессильной ярости, чувствуя, что не может помочь сыну. Но Серый Бобр смеялся, хлопая себя по бёдрам, и рассказывал всем о случившемся, и все тоже громко смеялись. А Белый Клык, усевшись на задние лапы, визжал и визжал и казался таким маленьким и жалким среди окружающих его людей.

Это была самая сильная боль, какую ему пришлось испытать. Живое существо, возникшее под руками Серого Бобра и похожее цветом на солнце, обожгло ему нос и язык. Белый Клык скулил, скулил не переставая, и каждый его вопль люди встречали новым взрывом смеха. Он попробовал лизнуть нос, но прикосновение; обожжённого языка к обожжённому носу только усилило боль, и он завыл ещё отчаянней, ещё тоскливей.

А потом ему стало стыдно. Он понял, почему люди смеются. Нам не дано знать, каким образом некоторые животные понимают, что такое смех, и догадываются, что мы смеёмся над ними. Вот это и произошло с Белым Клыком, и ему стало стыдно, когда люди подняли его на смех. Он повернулся и убежал, но убежать его заставила не боль от ожогов, а смех, потому что смех проникал глубже и ранил сильнее, чем огонь. Белый Клык кинулся к матери, бесновавшейся на привязи, к единственному в мире существу, которое не смеялось над ним.

Наступили сумерки, вслед за ними пришла ночь, а Белый Клык не отходил от Кичи. Нос и язык у него по-прежнему болели, но ему не давало успокоиться другое, ещё более сильное чувство. Его охватила тоска. Он ощущал какую-то пустоту в себе, он томился по тишине и миру,

царившим у ручья и в родной пещере. Жизнь стала слишком беспокойной. Тут было слишком много человеческих существ — мужчин, женщин, детей, — все они шумели и раздражали его. Собаки непрестанно ссорились, рычали, грызлись. Спокойное одиночество, которое он знал раньше, кончилось. Здесь даже самый воздух был насыщен жизнью. Она жужжала и гудела вокруг Белого Клыка, не умолкая ни на минуту. Новые звуки смущали и тревожили его, заставляя всё время ждать новых событий.

Белый Клык наблюдал за людьми, которые ходили между вигвамами, исчезали, снова появлялись. Подобно тому как человек взирает на им же сотворённых богов, Белый Клык взирал на окружающих его людей. Они были для него высшими существами. Он видел во всех их деяниях ту же чудотворную силу, которой человек наделяет бога. Они обладали непостижимым, безграничным могуществом. Они были властелинами живого и неживого мира; они держали в повиновении всё, что способно двигаться, и сообщали движение неподвижным вещам; из сухого моха и палок они творили жизнь, которая больно жгла и цветом своим напоминала солнце. Они творили огонь! Они были боги!

Глава 2

Неволя

Каждый новый день приносил Белому Клык — что-нибудь новое. Пока мать сидела на привязи, он бегал по всему посёлку, исследуя, изучая его и набираясь опыта. Он быстро ознакомился с повадками человеческих существ, но такое близкое знакомство не вызвало в нём пренебрежения к ним. Чем больше он узнавал людей, тем больше убеждался в их могуществе. Человек испытывает душевную боль, когда его богов ниспровергают и когда алтари, воздвигнутые его руками, рушатся, но волку и дикой собаке такая боль неведома. В противоположность человеку, боги которого — это лёгкая дымка мечты, никогда не обретающая реальности, это призраки, наделённые добротой и силой, это взлёты его я в царство духа, — в противоположность человеку волк и дикая собака, пригревшись у разведённого человеком костра, видят, что их боги облечены в плоть и кровь, что они осязаемы, занимают определённое место в пространстве и добиваются своих целей, оправдывают своё назначение в жизни, подчиняясь закону времени. Вера в таких богов даётся легко, её ничто не может поколебать. От такого бога никуда не уйдёшь. Вот он стоит во весь рост, с палкой в руке — всемогущий, гневный и добрый. В нём тайна и могущество, облечённые плотью, которая истекает кровью, когда её рвут, и которая на вкус ничем не хуже любого другого мяса.

Так было и с Белым Клыком. Человеческие существа казались ему богами, несомненными и вездесущими богами. И он покорился им, так же как покорилась его мать Кичи, едва только она услышала своё имя из их уст. Он уступал им дорогу. Когда они подзывали его — он подходил, когда прогоняли прочь — поспешно убегал, когда грозили — припадал к земле, потому что за каждым их желанием была сила, которая проявлялась при помощи кулака и палки, летающих по воздуху камней и обжигающих болью ударов бича.

Белый Клык принадлежал людям, как принадлежали им все собаки. Его поступки зависели от их велений. Его тело они вольны были искалечить, растоптать или пощадить. Этот урок Белый Клык запомнил быстро, но дался он ему не легко, — слишком многое в его натуре восставало против того, с чем ему приходилось сталкиваться на каждом шагу. И вместе с тем незаметно для самого себя Белый Клык начинал постигать прелесть новой жизни, хотя привыкать к ней было и трудно и неприятно. Он отдал свою судьбу в чужие руки и снял с себя всякую ответственность за собственное существование. Уже одно это служило ему наградой, потому что опираться на другого всегда легче, чем стоять одному. Но всё это случилось не сразу — за один день нельзя отдаться человеку и душой и телом. Белый Клык не мог отречься от наследия предков, не мог забыть Северную глушь. Бывали дни, когда он выходил на опушку леса и стоял там, прислушиваясь к зовам, влекущим его вдаль. И с таких прогулок он возвращался беспокойный, встревоженный, жалобно и тихо повизгивая, ложился рядом с Кичи и лизал ей морду своим быстрым, пытливым язычком.

Белый Клык быстро изучил жизнь индейского посёлка. Он узнал, как несправедливы и жадны взрослые собаки при раздаче мяса и рыбы. Убедился, что мужчины справедливы, дети жестоки, а женщины добры и от них скорее, чем от других, можно получить кусок мяса или кость. А после двух или трёх стычек с матерями щенят Белый Клык понял, что с этими фуриями лучше не связываться, — чем дальше от них держаться, тем будет спокойнее.

Но больше всех ему отравлял жизнь Лип-Лип. Он был старше и сильнее его. Белый Клык не избегал драк с ним, но всегда терпел поражение. Такой противник был ему не по силам. Лип-Лип преследовал свою жертву всюду. Стоило Белому Клыку отойти от матери, и забияка был тут как тут, ходил за ним по пятам, рычал, привязывался к нему и, если людей поблизости не было,

лез в драку. Эти стычки доставляли Лип-Липу громадное: удовольствие, потому что он всегда выходил из них победителем. Но то, что было для Лип-Липа самым большим наслаждением в жизни, приносило Белому Клыку лишь одни страдания.

Однако запугать Белого Клыка было не так легко. Он терпел поражение за поражением, но не смирялся. И всё-таки эта вечная вражда начинала сказываться на нём. Он стал злобным и угрюмым. Свирепость была свойственна ему как волку, а бесконечные преследования ещё больше ожесточали его. То добродушное, весёлое, юное, что было в нём, не находило себе выхода. Он никогда не играл и не возился со своими сверстниками: Лип-Лип не допускал этого. Стоило Белому Клыку появиться среди щенят, как Лип-Лип подлетал к нему, затевал ссору и в конце концов прогонял его прочь.

Вскоре почти всё щенячье, что было в Белом Клыке, исчезло, и он стал казаться гораздо старше своего возраста. Лишённый возможности давать выход своей энергии в игре, он ушёл в себя и стал развиваться умственно. В нём появилась хитрость, а времени, чтобы обдумать свои проделки, у него было достаточно. Так как ему мешали получать свою долю мяса и рыбы во время общей кормёжки собак, он сделался ловким вором. Приходилось самому заботиться о себе, и Белый Клык ухитрялся промышлять еду так искусно, что стал настоящим бичом для индианок. Он шнырял по всему посёлку, знал, где что происходит, всё видел и слышал, применялся к обстоятельствам и всячески избегал встреч со своим заклятым врагом.

Ещё в первые дни своей жизни в посёлке Белый Клык сыграл злую шутку с Лип-Липом и вкусил сладость мести. Он заманил его прямо в пасть свирепой Кичи примерно тем же способом, каким она когда-то заманивала собак и уводила их от людской стоянки на съедение волкам. Спасаясь от Лип-Липа, Белый Клык побежал не напрямик, а стал кружить между вигвамами. Бегал он хорошо, быстрее любого щенка его возраста и быстрее самого Лип-Липа. Но на этот раз он не особенно торопился и подпустил своего преследователя на расстояние всего только одного прыжка от себя.

Возбуждённый погоней и близостью жертвы, Лип-Лип оставил всякую осторожность и забыл, где находится. Когда он вспомнил об этом, было уже поздно. На всём бегу обогнув вигвам, он с размаху налетел прямо на Кичи, лежавшую на привязи. Лип-Лип взвыл от ужаса. Хоть Кичи и была привязана, но отделаться от неё оказалось не так-то легко. Она сбила его с ног, чтобы он не мог убежать, и впиалась в него зубами.

Откатившись наконец от волчицы в сторону, Лип-Лип с трудом поднялся, весь взлохмаченный, побитый и телесно и морально. Шерсть на нём торчала клочьями в тех местах, где по ней прошли зубы Кичи. Он раскрыл пасть и разразился протяжным, душераздирающим щенячьим воем. Но Белый Клык не дал ему даже повить как следует. Он кинулся на своего врага и рванул его за заднюю ногу. Куда девалась былая воинственность щенка! Лип-Лип пустился наутёк, а его жертва гналась за ним по пятам и не отстала до тех пор, пока её мучитель не добежал до своего вигвама. Тут на выручку Лип-Липу подоспели индианки, и Белый Клык, превратившийся в разъярённого дьявола, отступил только под градом сыпавшихся на него камней.

Настал день, когда Серый Бобр отвязал Кичи, решив, что теперь она уже не убежит. Белый Клык ликовал, видя мать на свободе. Он с радостью отправился бродить с ней по всему посёлку и, пока Кичи была близко, Лип-Лип держался от Белого Клыка на почтительном расстоянии. Белый Клык даже ощетинился и подходил к нему с воинственным видом, но Лип-Лип не принимал вызова. Он был неглуп и решил подождать с отмищением до тех пор, пока не встретится с Белым Клыком один на один.

В тот же день Кичи и Белый Клык вышли на опушку леса неподалёку от посёлка. Белый Клык постепенно, шаг за шагом, уводил туда мать, и, когда она остановилась на опушке, он

попробовал завлечь её дальше. Ручей, логовище и спокойный лес манили к себе Белого Клыка, и ему хотелось, чтобы мать ушла вместе с ним. Он отбежал на несколько шагов, остановился и посмотрел на неё. Она стояла не двигаясь. Белый Клык жалобно заскулил и, играя, стал бегать среди кустов, потом вернулся, лизнул мать в морду и снова отбежал. Но она продолжала стоять на месте. Белый Клык смотрел на неё, и казалось, что настойчивость и нетерпение вселились вдруг в волчонка и затем медленно покинули его, когда Кичи повернула голову и посмотрела на посёлок.

Даль звала Белого Клыка. И мать слышала этот зов. Но ещё яснее она слышала зов огня и человека, зов, на который из всех зверей откликается только волк — волк и дикая собака, ибо они братья.

Кичи повернулась и медленно, рысцой побежала обратно. Посёлок держал её в своей власти крепче всякой привязи. Невидимыми, таинственными путями боги завладели волчицей и не отпускали её от себя. Белый Клык сел в тени берёзы и тихо заскулил. Пахло сосной, нежные лесные ароматы наполняли воздух, напоминая Белому Клыку о прежней вольной жизни, на смену которой пришла неволя. Но Белый Клык был всего-навсего щенком, и зов матери доносился до него яснее, чем зов Северной глуши или человека. Он привык полагаться на неё во всём. Независимость была ещё впереди. Белый Клык встал и грустно поплёлся в посёлок, но по дороге раза два остановился и поскулил, прислушиваясь к зову, который всё ещё летел из лесной чащи.

В Северной глуши мать и детёныш недолго живут друг подле друга, но люди часто сокращают и этот короткий срок. Так было и с Белым Клыком. Серый Бобр задолжал другому индейцу, которого звали Три Орла. А Три Орла уходил вверх по реке Маккензи на Большое Невольничье озеро. Кусок красной материи, медвежья шкура, двадцать патронов и Кичи пошли в уплату долга. Белый Клык увидел, как Три Орла взял его мать к себе в пирогу, и хотел последовать за ней. Ударом кулака Три Орла отбросил его обратно на берег. Пирогоа отчалила. Белый Клык прыгнул в воду и поплыл за ней, не обращая внимания на крики Серого Бобра. Белый Клык не внял даже голосу человека — так боялся он разлуки с матерью.

Но боги привыкли, чтобы им повиновались, и разгневанный Серый Бобр, спустив на воду пирогу, поплыл вдогонку за Белым Клыком. Настигнув беглеца, он вытащил его за загривок из воды и, держа в левой руке, задал ему хорошую трёпку. Белому Клыку попало как следует. Рука у индейца была тяжёлая, удары были рассчитаны точно и сыпались один за другим.

Под градом этих ударов Белый Клык болтался из стороны в сторону, как испортившийся маятник. Самые разнообразные чувства волновали его. Сначала он удивился, потом на него напал страх, и он начал взвизгивать от каждого удара. Но страх вскоре сменился злобой. Свободолюбивая натура заявила о себе — Белый Клык оскалил зубы и бесстрашно зарычал прямо в лицо разгневанному божеству. Божество разгневалось ещё больше. Удары посыпались чаще, стали тяжелее и больнее.

Серый Бобр не переставал бить Белого Клыка, Белый Клык не переставал рычать. Но это не могло продолжаться вечно, кто-то должен был уступить, и уступил Белый Клык. Страх снова овладел им. В первый раз в жизни человек бил его по-настоящему. Случайные удары палкой или камнем казались лаской по сравнению с тем, что ему пришлось испытать сейчас. Белый Клык сдался и начал визжать и выть. Сначала он взвизгивал от каждого удара, но скоро страх его перешёл в ужас, и визги сменились непрерывным воем, не совпадающим с ритмом побоев. Наконец, Серый Бобр опустил правую руку. Белый Клык продолжал выть, повиснув в воздухе, как тряпка. Хозяин, по-видимому, остался доволен этим и швырнул его на дно пироги. Тем временем пирогу отнесло вниз по течению. Серый Бобр взялся за весло. Белый Клык мешал ему грести. Серый Бобр злобно толкнул его ногой. В этот миг свободолюбие снова дало себя знать в

Белом Клыке, и он впился зубами в ногу, обутую в мокасин.

Предыдущая трёпка была ничто в сравнении с той, которую ему пришлось вынести. Гнев Серого Бобра был страшен, и Белого Клыка обуял ужас. На этот раз Серый Бобр пустил в ход тяжёлое весло, и, когда Белый Клык очутился на дне пироги, на всём его маленьком теле не было ни одного живого места. Серый Бобр ещё раз ударил его ногой. Белый Клык не бросился на эту ногу. Неволя преподавала ему ещё один урок: никогда, ни при каких обстоятельствах, нельзя кусать бога — твоего хозяина и повелителя; тело бога священно, и зубы таких, как Белый Клык, не смеют осквернять его. Это считалось, очевидно, самой страшной обидой, самым страшным проступком, за который не было ни пощады, ни снисхождения.

Пирога причалила к берегу, но Белый Клык не шевельнулся и продолжал лежать, повизгивая и дожидаясь, когда Серый Бобр изъявит свою волю. Серый Бобр пожелал, чтобы Белый Клык вышел из пироги, и швырнул его на берег так, что тот со всего размаху ударился боком о землю. Дрожа всем телом, Белый Клык встал и заскулил. Лип-Лип, который наблюдал за происходящим с берега, кинулся, сшиб его с ног и впился в него зубами. Белый Клык был слишком беспомощен и не мог защищаться, и ему бы несдобровать, если бы Серый Бобр не ударил Лип-Липа ногой так, что тот взлетел высоко в воздух и шлёпнулся на землю далеко от Белого Клыка.

Такова была человеческая справедливость, и Белый Клык, несмотря на боль и страх, не мог не почувствовать признательность к человеку. Он послушно поплёлся за Серым Бобром через весь посёлок к его вигваму. И с того дня Белый Клык запомнил, что право наказывать боги оставляют за собой, а животных, подвластных им, этого права лишают.

В ту же ночь, когда в посёлке всё стихло, Белый Клык вспомнил мать и загрустил. Но грустил он так громко, что разбудил Серого Бобра, и тот побил его. После этого в присутствии богов он тосковал молча и давал волю своему горю тогда, когда выходил один на опушку леса.

В эти дни Белый Клык мог бы внять голосу прошлого, который звал его обратно к пещере и ручью, но память о матери удерживала его на месте. Может быть, она вернётся в посёлок, как возвращаются люди после охоты. И Белый Клык оставался в неволе, поджидая Кичи.

Подневольная жизнь не так уж тяготила Белого Клыка. Много в ней его интересовало. События в посёлке следовали одно за другим. Станным поступкам, которые совершали боги, не было конца, а Белый Клык всегда отличался любопытством. Кроме того, он научился ладить с Серым Бобром. Послушание, строгое, неукоснительное послушание требовалось от Белого Клыка, и, усвоив это, он не вызывал гнева у людей и избегал побоев.

А иногда случалось даже, что Серый Бобр сам швырял Белому Клыку кусок мяса и, пока тот ел, не подпускал к нему других собак. И такому куску не было цены. Он один был почему-то дороже, чем десяток кусков, полученных из рук женщин. Серый Бобр ни разу не погладил и не приласкал Белого Клыка. И, может быть, его тяжёлый кулак, может быть, его справедливость и могущество или всё это вместе влияло на Белого Клыка, но в нём начинала зарождаться привязанность к угрюмому хозяину.

Какие-то предательские силы незаметно опутывали Белого Клыка узами неволи, и действовали они так же безошибочно, как палка или удар кулаком. Инстинкт, который издавна гонит волков к костру человека, развивается быстро. Развивался он и в Белом Клыке. И хотя его теперешняя жизнь была полна горестей, посёлок становился ему всё дороже и дороже. Но сам он не подозревал этого. Он чувствовал только тоску по Кичи, надеялся на её возвращение и жадно тянулся к прежней свободной жизни.

Глава 3

Отщепенец

Лип-Лип до такой степени отравлял жизнь Белому Клыкку, что тот становился злее и свирепее, чем это полагалось ему от природы. Свирепость была свойственна его нраву, но теперь она перешла всякие границы. Он был известен своей злобой даже людям. Каждый раз, когда в посёлке слышался лай, собачья грызня или женщины поднимали крик из-за украденного куска мяса, никто не сомневался, что виновником всего этого был Белый Клык. Люди не старались разобраться в причинах такого поведения. Они видели только следствия, и следствия эти были дурные. Белый Клык слыл пронырой, вором и зачинщиком всех драк; разгневанные индианки обзывали его волком, предрекали ему плохой конец, а он, слушая всё это, зорко следил за ними и каждую минуту готов был увернуться от удара палкой или камнем.

Белый Клык чувствовал себя отщепенцем среди обитателей посёлка. Все молодые собаки следовали примеру Лип-Липа. Между ними и Белым Клыкком было какое-то различие. Может быть, собаки чуяли в нём другую породу и питали к нему инстинктивную вражду, которая всегда возникает между домашней собакой и волком. Как бы то ни было, но они присоединились к Лип-Липу. И, объявив Белому Клыкку войну, собаки имели достаточно поводов, чтобы не прекращать её. Все они до одной познакомились с его острыми зубами, и, надо отдать ему справедливость, он воздавал своим врагам сторицей. Многих собак он мог бы одолеть один на один, но такой возможности не представлялось.

Начало каждой драки служило сигналом для всех молодых собак, они сбегались со всего посёлка и набрасывались на Белого Клыка.

Вражда с собачьей сворой научила его двум важным вещам: отбиваться сразу от всей стаи и, имея дело с одним противником, наносить ему возможно большее количество ран в кратчайший срок. Не упасть, устоять среди осаждающих его со всех сторон врагов — значило сохранить жизнь, и Белый Клык постиг эту науку в совершенстве. Он умел держаться на ногах не хуже кошки. Даже взрослые собаки могли сколько угодно теснить его, — Белый Клык подавался назад, подскакивал, ускользал в сторону, и всё же ноги не изменяли ему и твёрдо стояли на земле.

Перед каждой дракой собаки обычно соблюдают некий ритуал: рычат, прохаживаются друг перед другом, шерсть у них встаёт дыбом. Белый Клык обходился без этого. Всякая задержка грозила появлением всей собачьей стаи. Дело надо делать быстро, а затем удирать. И Белый Клык не показывал своих намерений. Он кидался в драку без всякого предупреждения и начинал кусать и рвать своего противника, не дожидаясь, пока тот приготовится. Таким образом, он научился наносить собакам тяжёлые раны. Кроме того, Белый Клык понял, что важно застать врага врасплох, надо напасть неожиданно, распороть ему плечо, изорвать в клочья ухо, прежде чем он опомнится, — и тогда дело наполовину сделано.

Он убедился, что собаку, застигнутую врасплох, ничего не стоит сбить с ног, а тогда самое уязвимое место у неё на шее будет незащищённым. Белый Клык знал, где находится это место. Знание это досталось ему по наследству от многих поколений волков. И, нападая, он придерживался такой тактики: во-первых, подстерегал собаку, когда она была одна; во-вторых, налетал на неё неожиданно и сбивал с ног; и, в-третьих, вцеплялся ей в горло.

Белый Клык был ещё молод, и его неокрепшие челюсти не могли наносить смертельных ударов, но всё же не один щенок бегал по посёлку со следами его зубов на шее. И как-то раз, поймав одного из своих врагов на опушке леса, он всё же ухитрился перекусить ему горло и выпустил из него дух. В тот вечер посёлок заволновался. Его проделку заметили, весть о ней

дошла до хозяина издохшей собаки, женщины, припомнили Белому Клыкку все его кражи, и около жилища Серого Бобра собралась толпа народу. Но он решительно закрыл вход в вигвам, где отсиживался преступник, и отказался выдать его своим соплеменникам.

Белого Клыка возненавидели и люди и собаки. Он не знал ни минуты покоя. Каждая собака скалила на него зубы, каждый человек на него замахивался. Сородичи встречали его рычанием, боги — проклятиями и камнями. Он держался всё время начеку, каждую минуту был готов напасть, отразить нападение или увернуться от удара. Он действовал стремительно и хладнокровно: сверкнув клыками, кидался на противника или с грозным рычанием отскакивал назад.

Что до рычания, то рычать он умел пострашнее собак — и старых и молодых. Цель рычания — предостеречь или испугать врага; и надо хорошо разбираться в том, когда и при каких обстоятельствах следует пускать в ход такое средство. И Белый Клык знал это. В своё рычание он вкладывал всю ярость и злобу, всё, чем только мог утратить врага. Вздрагивающие ноздри, вставшая дыбом шерсть, язык, красной змейкой извивающийся между зубами, прижатые уши, горящие ненавистью глаза, подёргивающиеся губы, оскаленные клыки заставляли призадуматься многих собак. Когда Белого Клыка застигали врасплох, ему было достаточно секунды, чтобы обдумать план действий. Но часто пауза эта затягивалась, противник отказывался от драки, и рычание Белого Клыка сплошь и рядом давало ему возможность отступить с почётом даже при стычках со взрослыми собаками.

Изгнав Белого Клыка из стаи, объявив ему войну, молодые собаки тем самым поставили себя лицом к лицу с его злобой, ловкостью и силой. Дело обернулось так, что теперь враги Белого Клыка и сами ни на шаг не могли отойти от стаи. Он не допускал этого. Молодые собаки каждую минуту ждали его нападения и не решались бегать поодиночке. Всем им, за исключением Лип-Липа, приходилось держаться стаями, чтобы общими усилиями отбиваться от своего грозного противника. Отправляясь в одиночестве к реке, щенок или шёл на верную смерть, или оглашал весь посёлок пронзительным визгом, улепётывая от выскочившего из засады волчонка.

Но Белый Клык продолжал мстить собакам даже после того, как они запомнили раз и навсегда, что им надо держаться всем вместе. Он нападал на собак, заставляя их поодиночке; они нападали на него всей сворой. Стоило собакам завидеть Белого Клыка, как они дружно кидались за ним в погоню, и в таких случаях его спасали только быстрые ноги. Но горе тому псу, который, увлечшись, обгонял своих товарищей! Белый Клык на всём ходу поворачивался к преследователю, несущемуся впереди стаи, и бросался на него. Это случалось часто, потому что возбуждённые погоней собаки забывали обо всём на свете, а Белый Клык всегда сохранял хладнокровие. То и дело оглядываясь назад, он готов был в любую минуту сделать на всём бегу крутой поворот и кинуться на слишком рьяного преследователя, отделившегося от своих товарищей.

В молодых собаках живёт непреодолимая потребность играть, и враги Белого Клыка удовлетворяли эту потребность, превращая войну с ним в увлекательную забаву. Охота за волчонком стала для них самым любимым развлечением — правда, развлечением не шуточным и подчас смертельно опасным. А Белый Клык, с которым никто из собак не мог сравниться быстротой ног, в свою очередь, не останавливался перед риском. В те дни, когда надежда на возвращение Кичи ещё не покидала Белого Клыка, он часто заманивал собачью стаю в соседний лес. Но собакам не удавалось догнать его там. По твюканию и вою Белый Клык определял, где они находятся; сам же он бежал молча, тенью скользя между деревьями, как это делали его отец и мать. Кроме того, связь его с Северной глушью была теснее, чем у собак; он лучше понимал все её тайны и хитрости. Чаще всего Белый Клык прибегал к такой уловке: переплывал ручей,

запутывал свои следы и спокойно отлёживался где-нибудь в лесных зарослях, прислушиваясь к лаю потерявших его преследователей.

Вызывая и у своих собратьев и у людей только одну ненависть и вечно враждуя со всеми, Белый Клык развивался быстро, но односторонне. При такой жизни в нём не могли зародиться ни добрые чувства, ни потребность в ласке. Обо всём этом он не имел ни малейшего понятия. Повинуйся сильному, угнетай слабого — вот закон, который руководил им, Серый Бобр — божество, он наделён силой, поэтому Белый Клык повиновался ему. Но собаки — те, которые моложе и меньше его ростом, слабы, и их надо уничтожать.

В Белом Клыке развивались все те качества, которые Помогали ему противостоять опасности, часто грозившей его жизни. Стальные мускулы выступали на его худом, гибком теле, как верёвки. В проворстве и хитрости с ним не мог сравниться никто; он бегал быстрее, был беспощаднее в драках, выносливее, злее, ожесточённее и умнее всех остальных собак. Белый Клык должен был стать таким, иначе он не уцелел бы в той враждебной среде, в которую привела его жизнь.

Глава 4

Погоня за богами

Осенью, когда дни стали короче и в воздухе уже чувствовалось приближение холодов, Белому Клык представился случай вырваться на свободу. Уже несколько дней в посёлке царила суматоха. Индейцы разбирали летние вигвамы и готовились выйти на осеннюю охоту. Белый Клык зорко следил за этими приготовлениями, и, когда вигвамы были разобраны, а вещи погружены в пироги, он понял всё. Пироги одна за другой начали отчаливать от берега, и часть их уже скрылась из виду.

Белый Клык решил остаться и при первой же возможности улизнул из посёлка в лес. Переплыв ручей, который уже затягивался льдом, он запутал свои следы. Потом забрался поглубже в чащу и стал ждать. Время шло. Он успел несколько раз заснуть, проснуться и снова заснуть. Его разбудил голос Серого Бобра. Потом послышались и другие голоса — жены хозяина, принимавшей участие в поисках, и Мит-Са — сына Серого Бобра.

Белый Клык задрожал от страха, услышав свою кличку, но устоял и не вышел из лесу, хотя что-то подстрекало его откликнуться на зов хозяина. Вскоре голоса замерли вдали, и тогда он выбрался из кустарника, довольный, что побег удался. Наступали сумерки. Белый Клык резвился между деревьями, радуясь свободе. И вдруг его охватило чувство одиночества. Он сел, тревожно прислушиваясь к лесной тишине: ни звука, ни движения... Это показалось ему подозрительным, его подстерегала какая-то неведомая опасность. Он всматривался в смутные очертания высоких деревьев, в густые тени между ними, где мог притаиться любой враг.

Потом ему стало холодно. Тёплой стены вигвама, около которой он всегда грелся, здесь не было. Он сидел, поочерёдно поджимая то одну, то другую переднюю лапу, потом прикрыл их своим пушистым хвостом, и в эту минуту перед ним пронеслось видение. В этом не было ничего странного: перед его глазами встали знакомые картины. Он снова увидел посёлок, вигвамы, пламя костров. Он слышал пронзительные голоса женщин, грубый бас мужской речи, лай собак. Белый Клык проголодался и вспомнил куски мяса и рыбы, которые ему перепали от людей. Но сейчас его окружала тишина, сулившая не еду, а опасность.

Неволя изнежила Белого Клыка. Зависимость от людей лишила его части силы. Он разучился добывать себе корм. Над ним спускалась ночь. Его зрение и слух, привыкшие к шуму и движению посёлка, к непрерывному чередованию звуков и картин, не находили себе работы. Ему нечего было делать, нечего слушать, не на что смотреть. Он старался уловить хоть малейший шорох или движение. В этом безмолвии и неподвижности природы таилась какая-то страшная опасность.

И вдруг Белый Клык вздрогнул. Что-то громадное и бесформенное пронеслось у него перед глазами. На землю легла тень дерева, освещённую выглянувшей из-за облаков луной. Успокоившись, он тихо заскулил, но, вспомнив, что это может привлечь к нему притаившегося где-нибудь врага, смолк.

Дерево, схваченное ночным морозом, громко скрипнуло у него над головой. Белый Клык взвыл и, не чуя под собой ног от ужаса, опрометью кинулся к посёлку. Он чувствовал непреодолимую потребность в людском обществе, в защите, которую оно даёт. В его ноздрях стоял запах дыма от костров, в ушах звенели голоса и крики. Он выбежал из лесу на залитую луной поляну, где не было ни теней, ни мрака, но глаза его не увидели знакомого посёлка. Он забыл, что люди ушли оттуда.

Белый Клык остановился как вкопанный. Бежать было некуда. Он грустно бродил по опустевшему становищу, обнюхивая кучи мусора и хлама, оставленного богами. Теперь его

обрадовал бы даже камень, брошенный какой-нибудь рассерженной женщиной, даже тяжёлая рука Серого Бобра, а Лип-Липа и всю рычащую, трусливую свору собак он встретил бы с восторгом.

Он побрёл к тому месту, где стоял прежде вигвам Серого Бобра, сел посредине и поднял морду к луне. Спазмы сжимали ему горло; пасть у него раскрылась, и одиночество, страх, тоска по Кичи, все прошлые горести и предчувствие грядущих невзгод и страданий — всё это вылилось в протяжном, тоскливом вое. Это был волчий вой, впервые вырвавшийся из груди Белого Клыка.

С наступлением утра его страхи исчезли, но чувство одиночества только усилилось. Вид заброшенного становища, в котором ещё так недавно кипела жизнь, наводил на него тоску. Долго раздумывать ему не пришлось: он повернул в лес и побежал вдоль берега реки. Он бежал весь день, не давая себе ни минуты отдыха. Казалось, он может бежать вечно. Его сильное тело не знало утомления. И даже когда утомление всё-таки пришло, выносливость, доставшаяся ему от предков, продолжала гнать его всё дальше и дальше.

Там, где река протекала между крутыми берегами, Белый Клык бежал в обход, по горам. Ручьи и речки, впадавшие в Маккензи, он переплывал или переходил вброд. Часто ему приходилось бежать по узкой кромке льда, намёрзшей около берега; тонкий лёд ломался, и, проваливаясь в ледяную воду, Белый Клык не раз бывал на волосок от гибели. И всё это время он ждал, что вот-вот нападёт на след богов в том месте, где они причалят к берегу и направятся в глубь страны.

По уму Белый Клык превосходил многих своих собратьев, и всё-таки мысль о другом берегу реки Маккензи не приходила ему в голову. Что, если след богов выйдет на ту сторону? Этого он не мог сообразить. Вероятно, позднее, когда Белый Клык набрался бы опыта в странствиях, повзрослел, научился бы отыскивать следы вдоль речных берегов, он допустил бы и эту возможность. Такая зрелость ждала его в будущем. Сейчас же он бежал наугад, принимая в расчёт только один берег Маккензи.

Белый Клык бежал всю ночь, натываясь в темноте на препятствия и преграды, которые замедляли его бег, но не отбивали охоты двигаться дальше. К середине второго дня, через тридцать часов, его железные мускулы стали сдавать, поддерживало только напряжение воли. Он ничего не ел почти двое суток и совсем обессилел от голода. Сказывались на нём и непрерывные погружения в ледяную воду. Его великолепная шкура была вся в грязи, широкие подушки на лапах кровоточили. Он начал прихрамывать — сначала слегка, потом всё больше и больше. В довершение всего небо нахмурилось и пошёл снег — мокрый, тающий снег, который прилипал к его разъезжавшимся лапам, заволакивал всё вокруг и скрывал неровности почвы, затрудняя и без того мучительную дорогу.

В эту ночь Серый Бобр решил сделать привал на дальнем берегу реки Маккензи, потому что путь к местам охоты шёл в том направлении. Но незадолго до темноты Клу-Куч, жена Серого Бобра, заметила на ближнем берегу лося, который подошёл к реке напиться. И вот, не подойди лось к берегу, не сбейся Мит-Са из-за метели с правильного курса, Клу-Куч не заметила бы лося. Серый Бобр не уложил бы его метким выстрелом из ружья, и все дальнейшие события сложились бы совершенно по-иному. Серый Бобр не сделал бы привала на ближнем берегу реки Маккензи, а Белый Клык, пробежав мимо, или погиб бы, или попал бы к своим диким сородичам и остался бы волком до конца своих дней.

Наступила ночь. Снег повалил сильнее, и Белый Клык, спотыкаясь, прихрамывая и тихо повизгивая на ходу, напал на свежий след. След был настолько свеж, что Белый Клык сразу узнал его. Заскулив от нетерпения, он повернул от реки и бросился в лес. До ушей его донеслись знакомые звуки. Он увидел пламя костра, Клу-Куч, занятую стряпнёй. Серого Бобра, присевшего

на корточки и жевавшего кусок сырого сала. У людей было свежее мясо!

Белый Клык ожидал расправы. При мысли о ней шерсть у него на спине встала дыбом. Потом он, крадучись, двинулся вперёд. Он боялся ненавистных ему побоев и знал, что их не миновать. Но он знал также, что будет греться около огня, будет пользоваться покровительством богов, встретит общество собак, хоть и враждебное ему, но всё же общество, которое способно удовлетворить его потребность в близости к живым существам.

Белый Клык ползком приближался к костру. Серый Бобр увидел его и перестал жевать сало. Белый Клык пополз ещё медленнее; чувство унижения и покорности давило его, заставляя пресмыкаться перед человеком. Он полз прямо к Серому Бобру, всё замедляя и замедляя движение, как будто ползти ему с каждым дюймом становилось труднее, и, наконец, лёг у ног хозяина, которому предался отныне добровольно душой и телом. По собственному желанию подошёл он к костру человека и признал над собой человеческую власть. Белый Клык дрожал, ожидая неминуемого наказания. Рука поднялась над ним. Он весь съёжился, готовясь принять удар. Но удара не последовало.

Белый Клык украдкой взглянул вверх. Серый Бобр разорвал сало на две части. Серый Бобр протягивал ему кусок сала! Осторожно и недоверчиво Белый Клык понюхал его, а потом потянул к себе. Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса и, пока он ел, не подпускал к нему других собак. Благодарный и довольный, Белый Клык улёгся у ног своего хозяина, глядя на жаркое пламя костра и сонно щурясь. Он знал, что утро застанет его не в мрачном лесу, а на привале, среди богов, которым он отдавал всего себя и от воли которых теперь зависел.

Глава 5

Договор

В середине декабря Серый Бобр отправился вверх по реке Маккензи. Мит-Са и Клу-Куч поехали вместе с ним. Сани Серого Бобра везли собаки, которых он выменял или взял займы у соседей. Во вторые сани, поменьше, были впряжены молодые собаки, и ими правил Мит-Са. Упряжка и сани больше походили на игрушечные, но Мит-Са был в восторге: он чувствовал, что исполняет настоящую мужскую работу. Кроме того, он учился управлять собаками и натаскивать их, и щенки тоже привыкали к упряжи. Сани Мит-Са шли не пустые, а везли около двухсот фунтов всякого скарба и провизии.

Белому Клыкку приходилось и раньше видеть ездовых собак, и, когда его самого в первый раз запрягли в сани, он не противился этому. На шею ему надели набитый мохом ошейник, от которого шли две лямки к ремню, перекинутому поперёк груди и через спину; к этому ремню была привязана длинная верёвка, соединявшая его с санями.

Упряжка состояла из семи собак. Всем им исполнилось по девять-десять месяцев, и только одному Белому Клыкку было восемь. Каждая собака шла на отдельной верёвке. Все верёвки были разной длины, и разница между ними измерялась длиной корпуса собаки. Соединялись они в кольцо на передке саней. Передок был загнут кверху, чтобы сани — берестяные, без полозьев — не зарывались в мягкий, пушистый снег. Благодаря такому устройству тяжесть самих саней и поклажи распределялась на большую поверхность. С той же целью — как можно более равномерного распределения тяжести — собак привязывали к передку саней веером, и ни одна из них не шла по следу другой.

У веерообразной упряжки было ещё одно преимущество: разная длина верёвок мешала собакам, бегущим сзади, кидаться на передних, а затевать драку можно было только с той соседкой, которая шла на более короткой верёвке. Однако тогда нападающий оказывался нос к носу со своим врагом и, кроме того, подставлял себя под удары бича погонщика. Но самое большое преимущество этой упряжки заключалось в том, что, стараясь напасть на передних собак, задние налегали на построжки, а чем быстрее катились сани, тем быстрее бежала и преследуемая собака. Таким образом, задняя никогда не могла догнать переднюю. Чем быстрее бежала одна, тем быстрее удирала от неё другая и тем быстрее бежали все остальные собаки. В результате всего этого быстрее катились и сани. Вот такими хитрыми уловками человек и укреплял свою власть над животными.

Мит-Са, очень похожий на отца, унаследовал от него и мудрость. Он давно уже заметил, что Лип-Лип не даёт прохода Белому Клыкку; но тогда у Лип-Липа были свои хозяева, и Мит-Са осмеливался только исподтишка бросать в него камнем. А теперь Лип-Лип принадлежал Мит-Са, и, решив отомстить ему за прошлое, Мит-Са привязал его на самую длинную верёвку. Таким образом, Лип-Лип стал вожаком, ему как будто оказали большую честь, — но на самом деле чести в этом было мало, потому что забияку и главаря всей стаи Лип-Липа ненавидели и преследовали теперь все собаки.

Так как Лип-Лип был привязан на самую длинную верёвку, собакам казалось, что он удирает от них. Им были видны только его задние ноги и пушистый хвост, а это далеко не так страшно, как вставшая дыбом шерсть и сверкающие клыки. Кроме того, зрелище бегущей собаки вызывает в других собаках уверенность, что она убегает именно от них и что её надо во что бы то ни стало догнать.

Как только сани тронулись, вся упряжка погналась за Лип-Липом, и эта погоня продолжалась весь день. На первых порах оскорблённый Лип-Лип то и дело порывался кинуться

на своих преследователей, но Мит-Са каждый раз хлестал его по голове тридцатифутовым бичом, свитым из вяленых оленьих кишок, и заставлял вернуться на место. Лип-Лип не побоялся бы схватиться со всей упряжкой, однако бич был куда страшнее, — и ему не оставалось ничего другого, как натягивать верёвку и уносить свои бока от зубов товарищей.

Ум индейца неистощим на хитрости. Чтобы усилить вражду всей упряжки к Лип-Липу, Мит-Са стал отличать его перед другими собаками, возбуждая в них ревность и ненависть к жожаку. Мит-Са кормил его мясом в присутствии всей своры и никому другому мяса не давал. Собаки приходили в ярость. Они метались вокруг Лип-Липа, пока он ел, но близко подходить не осмеливались, так как Мит-Са стоял возле него с бичом в руке. А когда мяса не было, Мит-Са отгонял упряжку подальше и делал вид, что кормит Лип-Липа.

Белый Клык принялся за работу охотно. Покорившись богам, он в своё время проделал гораздо более длинный путь, чем остальные собаки, и гораздо глубже, чем они, постиг всю тщетность сопротивления воле богов. Кроме того, ненависть, которую питали к нему все собаки, уменьшала их значение в его глазах и увеличивала значение человека. Он не нуждался в обществе своих братьев: Кичи была почти забыта, и верность богам, власть которых признал над собой Белый Клык, служила ему чуть ли не единственным способом выражать свои чувства. И Белый Клык усердно работал, слушался приказаний и подчинялся дисциплине. Он трудился честно и охотно. Честность в труде присуща всем приручённым волкам и приручённым собакам, а Белый Клык был наделён этим качеством в полной мере.

Белый Клык общался и с собаками, но это общение выражалось во вражде и ненависти. Он никогда не играл с ними. Он умел драться — и дрался, воздавая сторицей за все укусы и притеснения, которые ему пришлось вынести в те дни, когда Лип-Лип был главарём стаи. Теперь Лип-Лип главенствовал над ней лишь тогда, когда бежал на конце длинной верёвки впереди своих товарищей и подскакивающих по снегу саней. На стоянках Лип-Лип держался поближе к Мит-Са, Серому Бобру и Клу-Куч, не решаясь отойти от богов, потому что теперь клыки всех собак были направлены против него и он испытал на себе всю горечь вражды, которая приходилась раньше на долю Белого Клыка.

После падения Лип-Липа Белый Клык мог бы сделаться жожаком стаи, но он был слишком угрюм и замкнут для этого. Товарищи по упряжке получали от него только одни укусы, в остальном он словно не замечал их. При встречах с ним они сворачивали в сторону, и ни одна, даже самая смелая, собака не решалась отнять у Белого Клыка его долю мяса. Напротив, они старались как можно скорее проглотить свою долю, боясь, как бы он не отнял её. Белый Клык хорошо усвоил закон: притесняй слабого и подчиняйся сильному. Он торопливо съедал брошенный хозяином кусок, и тогда — горе той собаке, которая ещё не кончила есть. Грозное рычание, оскаленные клыки — и ей оставалось только излить своё негодование равнодушным звёздам, пока Белый Клык доканчивал её долю.

Время от времени го одна, то другая собака поднимала бунт против Белого Клыка, но он быстро усмирал их. Он ревниво оберегал своё обособленное положение в стае и нередко брал его с бою. Но такие схватки бывали непродолжительны. Собаки не могли тягаться с ним. Он наносил раны противнику, не дав ему опомниться, и собака истекала кровью, ещё не успев как следует начать драку.

Белый Клык так же, как и боги, поддерживал среди своих братьев суровую дисциплину. Он не давал им никаких поблажек и требовал безграничного уважения к себе. Между собой собаки могли делать всё что угодно. Это его не касалось. Белый Клык следил только за тем, чтобы собаки не посягали на его обособленность, уступали ему дорогу, когда он появлялся среди стаи, и признавали его господство над собой. Стоило какому-нибудь смельчаку принять воинственный вид, оскалить зубы или оцетиниться, как Белый Клык кидался на него и без

всякой жалости доказывал ему ошибочность его поведения.

Он был свирепым тираном, он правил с железной непреклонностью. Слабые не знали пощады от него.

Жестокая борьба за существование, которую ему пришлось вести с раннего детства, когда вдвоём с матерью, одни, без всякой помощи, они бились за жизнь, преодолевая враждебность Северной глуши, не прошла бесследно. При встречах с сильнейшим противником Белый Клык вёл себя смирно. Он угнетал слабого, но зато уважал сильного. И когда Серый Бобр встречал на своём долгом пути стоянки других людей, Белый Клык ходил между чужими взрослыми собаками тихо и осторожно.

Прошло несколько месяцев, а путешествие Серого Бобра всё ещё продолжалось. Долгая дорога и усердная работа в упряжке укрепили силы Белого Клыка, и умственное развитие его, видимо, завершилось. Окружающий мир был познан им до конца. И он смотрел на него мрачно, не питая по отношению к нему никаких иллюзий. Мир этот был суров и жесток, в нём не существовало ни тепла, ни ласки, ни привязанностей.

Белый Клык не чувствовал привязанности даже к Серому Бобру. Правда, Серый Бобр был богом, но богом жестоким. Белый Клык охотно признавал его власть над собой, хотя власть эта основывалась на умственном превосходстве и на грубой силе. В натуре Белого Клыка было нечто такое, что шло навстречу этому господству, иначе он не вернулся бы из Северной глуши и не доказал бы этим своей верности богам. В нём таились ещё никем не исследованные глубины. Добрым словом или ласковым прикосновением Серый Бобр мог бы проникнуть в эти глубины, но Серый Бобр никогда не ласкал Белого Клыка, не сказал ему ни одного доброго слова. Это было не в его обычае. Превосходство Серого Бобра основывалось на жестокости, и с такой же жестокостью он повелевал, отправляя правосудие при помощи палки, наказуя преступление физической болью и воздавая по заслугам не лаской, а тем, что воздерживался от удара.

И Белый Клык не подозревал о том блаженстве, которым может наградить рука человека. Да он и не любил человеческих рук: в них было что-то подозрительное. Правда, иногда эти руки давали мясо, но чаще всего они причиняли боль. От них надо было держаться подальше, они швыряли камни, размахивали палками, дубинками, бичами, они могли бить и толкать, а если и прикасались, то лишь затем, чтобы ущипнуть, дёрнуть, вырвать клочок шерсти. В чужих посёлках он узнал, что детские руки тоже умеют причинять боль. Какой-то мальш однажды чуть не выколол ему глаз. После этого Белый Клык стал относиться к детям с большой подозрительностью. Он просто не выносил их. Когда те подходили и протягивали к нему свои руки, не сулившие добра, он вставал и уходил.

В одном из посёлков на берегу Большого Невольничьего озера Белому Клыку довелось уточнить преподанный ему Серым Бобром закон, согласно которому нападение на богов считается непростительным грехом. По обычаю всех собак во всех посёлках, Белый Клык отправился на поиски пищи. Он увидел мальчика, который разрубал топором мёрзлую тушу лося. Кусочки мяса разлетались в разные стороны. Белый Клык остановился и стал подбирать их. Мальчик бросил топор и схватил увесистую дубинку. Белый Клык отскочил назад, еле успев увернуться от удара. Мальчик побежал за ним, и он, незнакомый с посёлком, кинулся в проход между вигвамами и очутился в тупике перед высоким земляным валом.

Деваться было некуда. Мальчик загораживал единственный выход из тупика. Подняв дубинку, он сделал шаг вперёд. Белый Клык рассвирепел. Его чувство справедливости было возмущено, он весь оцетинился и встретил мальчика грозным рычанием. Белый Клык хорошо знал закон: все остатки мяса, например, кусочки мёрзлой туши лося, принадлежат собаке, которая их находит; он не сделал ничего дурного, не нарушил никакого закона, и всё-таки мальчик собирался побить его. Белый Клык сам не знал, как это случилось. Он сделал это в

припадке бешенства, и всё произошло так быстро, что его противник тоже ничего не успел понять. Мальчик вдруг растянулся на снегу, а зубы Белого Клыка прокусили ему руку, державшую дубинку.

Но Белый Клык знал, что закон, установленный богами, нарушен. Вонзивший зубы в священное тело одного из богов должен ждать самого страшного наказания. Он убежал под защиту Серого Бобра и сидел, съёжившись, у его ног, когда укушенный мальчик и вся его семья явились требовать возмездия. Но они ушли ни с чем; Серый Бобр стал на защиту Белого Клыка. То же сделали Мит-Са и Клу-Куч. Прислушиваясь к перебранке людей и наблюдая за тем, как они гневно машут руками, Белый Клык начинал понимать, что для его проступка есть оправдание. И таким образом он узнал, что боги бывают разные: они делятся на его богов и на богов чужих; и это далеко не одно и то же. От своих богов следует принимать всё — и справедливость и несправедливость. Но он не обязан сносить несправедливость чужих богов, он вправе мстить за неё зубами. И это также было законом.

В тот же день Белый Клык познакомился с новым законом ещё ближе. Собирая хворост в лесу, Мит-Са натолкнулся на компанию мальчиков, среди которых был и потерпевший. Произошла ссора. Мальчики набросились на Мит-Са. Ему приходилось плохо. Удары сыпались на него со всех сторон. Белый Клык сначала просто наблюдал за дракой — это дело богов, это его не касается. Но потом он сообразил, что ведь бьют Мит-Са, одного из его собственных богов. И то, что он сделал вслед за этим, он сделал не рассуждая. Порыв бешеной ярости бросил его в самую середину свалки. Пять минут спустя мальчики разбежались с поля битвы, и многие из них оставили на снегу кровавые следы, говорившие о том, что зубы Белого Клыка не бездействовали. Когда Мит-Са рассказал в посёлке о случившемся, Серый Бобр велел дать Белому Клыку мяса. Он велел дать ему много мяса. И Белый Клык, насытившись, лёг у костра и заснул, твёрдо уверенный в том, что понял закон правильно.

Вслед за этим Белый Клык усвоил закон собственности и то, что собственность хозяина надо охранять. От защиты тела бога до защиты его имущества был один шаг, и Белый Клык этот шаг сделал. То, что принадлежало богу, следовало защищать от всего мира, не останавливаясь даже перед нападением на других богов. Но поступок этот, святотатственный сам по себе, всегда сопряжён с большой опасностью. Боги всемогущи, и собаке трудно тягаться с ними; и всё-таки Белый Клык научился безбоязненно давать им отпор. Чувство дома побеждало в нём страх, и в конце концов вороватые боги решили оставить имущество Серого Бобра в покое.

Белый Клык скоро понял, что вороватые боги трусливы и, заслышав тревогу, сейчас же убегают. Кроме того (как он убедился на опыте), промежуток времени между поднятой тревогой и появлением Серого Бобра бывал обычно очень короткий. И он понял также, что вор убегает не потому, что боится его, Белого Клыка, а потому, что боится Серого Бобра. Учувя вора, Белый Клык не поднимал лая — да он и не умел лаять, — он кидался на непрошеного гостя и, если удавалось, впивался в него зубами. Угрюмость и необщительность помогли Белому Клыку стать надёжным сторожем при хозяйском добре, и Серый Бобр всячески поощрял его в этом. И в конце концов Белый Клык стал ещё злее, ещё неукротимее и окончательно замкнулся в себе.

Месяцы шли один за другим, и время всё больше и больше скрепляло договор между собакой и человеком. Этот договор ещё в незапамятные времена был заключён первым волком, пришедшим из Северной глуши к человеку. И, подобно всем своим предшественникам — волкам и диким собакам, Белый Клык сам выработал условия этого договора. Они были очень просты. За поклонение божеству он отдал свою свободу. От бога Белый Клык получил общение с ним, покровительство, корм и тепло. Взамен он сторожил его имущество, защищал его тело, работал на него и покорялся ему.

Если у тебя есть бог, ему надо служить. И Белый Клык служил своему богу, повинуюсь

чувству долга и благоговейного страха. Но он не любил его. Он не знал, что такое любовь, и никогда не испытывал этого чувства. Кичи стала далёким воспоминанием. Кроме того, отдавшись человеку, Белый Клык не только порвал с Северной глушью и со своими сородичами, но подчинился и такому условию договора, которое не позволило бы ему покинуть бога и пойти за Кичи, даже если бы он встретил её. Преданность человеку стала законом для Белого Клыка, и закон этот был сильнее любви к свободе, сильнее кровных уз.

Глава 6

Голод

Весна была уже не за горами, когда длинное путешествие Серого Бобра кончилось. В один из апрельских дней Белый Клык, которому к этому времени исполнился год, снова вернулся в старый посёлок, и там Мит-Са снял с него упряжь. Хотя Белый Клык ещё не достиг полной зрелости, всё же после Лип-Липа он был самым крупным из годовалых щенков.

Унаследовав свой рост и силу от отца-волка и от Кичи, он почти сравнялся со взрослыми собаками, но уступал им в крепости сложения. Тело у него было поджарое и стройное; в драках он брал скорее увёртливостью, чем силой; шкура серая, как у волка. И по виду он казался самым настоящим волком. Кровь собаки, перешедшая к нему от Кичи, не оставила следов на его внешнем облике, но характер его складывался не без её участия.

Белый Клык бродил по посёлку, с чувством спокойного удовлетворения узнавая богов, знакомых ему ещё до путешествия. Встречал он здесь и щенят, тоже подросших за что время, и взрослых собак, которые теперь уже не казались ему такими большими и страшными. Белый Клык почти перестал бояться их и прогуливался среди своры с непринуждённостью, доставлявшей ему на первых порах большое удовольствие.

Был здесь и старый седой Бэсик, которому раньше требовалось только оскалить зубы, чтобы прогнать Белого Клыка за тридевять земель. В прежние дни Бэсик не раз заставлял Белого Клыка убеждаться в собственном ничтожестве, но теперь тот же Бэсик помог ему оценить происшедшие в нём самом перемены. Бэсик старел, дряхлел, а Белый Клык был молод, и сил у него прибывало с каждым днём.

Перемена во взаимоотношениях с собаками стала ясна Белому Клыку вскоре после возвращения в посёлок. Люди разделявали тушу только что убитого лося. Он получил копыто с частью берцовой кости, на которой было довольно много мяса. Убежав от дерущихся собак подальше в лес, чтобы его никто не видел, Белый Клык принялся за свою добычу. И вдруг на него налетел Бэсик. Ещё не успев как следует сообразить, в чём дело, Белый Клык дважды полоснул старого пса зубами и отскочил в сторону. Остолбнев от такой дерзкой и стремительной атаки, Бэсик бессмысленно уставился на Белого Клыка, а кость со свежим мясом лежала между ними.

Бэсик был стар и уже испытал на себе отвагу той самой молодёжи, которую раньше ему ничего не стоило припугнуть. Как это ни было горько, но волей-неволей обиды приходилось глотать, призывая на помощь всю свою мудрость, чтобы не сплеховать перед молодыми собаками. В прежние дни справедливый гнев заставил бы его кинуться на дерзновенного юнца, но теперь убывающие силы не позволяли отважиться на такой поступок. Весь оцетинившись, он грозно поглядывал на Белого Клыка, а тот, вспомнив свой былой страх, съёжился, словно маленький щенок, и уже прикидывал мысленно, как бы ему отступить с возможно меньшим позором.

Тут-то Бэсик и совершил ошибку. Удовольствуйся он грозным и свирепым видом — всё сошло бы хорошо. Приготовившийся к бегству Белый Клык отступил бы, оставив кость ему. Но Бэсик не захотел ждать. Решив, что победа осталась за ним, он сделал шаг вперёд и понюхал кость. Белый Клык слегка оцетинился. Даже сейчас можно было спасти положение. Продолжай Бэсик стоять с высоко поднятой головой, грозно поглядывая на противника, Белый Клык в конце концов удрал бы. Но ноздри Бэсику щекотал запах свежего мяса, и, не удержавшись, он схватил кость.

Этого Белый Клык не смог перенести. Господство над товарищами по упряжке было ещё

свежо в его памяти, и он уже не мог совладать с собой, глядя, как другая собака пожирает принадлежащее ему мясо. По своему обыкновению он кинулся на Бэсика, не дав тому опомниться. После первого же укуса правое ухо у старого пса повисло ключьями. Внезапность нападения ошеломила его. Но немедленно вслед за этим и с такой же внезапностью последовали ещё более печальные события: Бэсик был сбит с ног, на шее его зияла рана. Не дав старику подняться, молодая собака дважды рванула его за плечо. Стремительность нападения была поистине ошеломляющей. Бэсик кинулся на Белого Клыка, но зубы его только яростно щёлкнули в воздухе. В следующую же минуту нос у Бэсика оказался расплосованным, и он, шатаясь, отступил прочь.

Положение круто изменилось. Над костью стоял грозно ощерившийся Белый Клык, а Бэсик держался поодаль, готовясь в любую минуту отступить. Он не осмеливался затеять драку с молодым, быстрым, как молния, противником. И снова, с ещё большей горечью, Бэсик почувствовал приближающуюся старость. Его попытка сохранить достоинство была поистине героической. Спокойно повернувшись спиной к молодой собаке и лежавшей на земле кости, как будто и то и другое совершенно не заслуживало внимания, он величественно удалился. И только тогда, когда Белый Клык уже не мог видеть его, Бэсик лёг на землю и началлизывать свои раны.

После этого случая Белый Клык окончательно уверовал в себя и возгордился. Теперь он спокойно расхаживал среди взрослых собак, стал не так уступчив. Не то чтобы он искал поводов для ссоры, далеко нет, — он требовал внимания к себе. Он отстаивал свои права и не хотел отступать перед другими собаками. С ним приходилось считаться, вот и всё. Никто не смел пренебрегать им. Это участь щенят, и мириться с такой участью приходилось всей упряжке, щенки сторонились взрослых собак, уступали им дорогу, а иногда были вынуждены отдавать им свою долю мяса. Но необщительный, одинокий, угрюмый, грозный, чуждающийся всех Белый Клык был принят как равный в среду взрослых собак. Они быстро поняли, что его надо оставить в покое, не объявляли ему войны и не делали попыток завязать с ним дружбу. Белый Клык платил им тем же, и после нескольких стычек собаки убедились, что такое положение дел устраивает всех как нельзя лучше.



В середине лета с Белым Клыком произошёл неожиданный случай. Пробегая своей бесшумной рысцой в конец посёлка, чтобы обследовать там новый вигвам, поставленный, пока он уходил с индейцами на охоту за лосем, Белый Клык наткнулся на Кичи. Он остановился и посмотрел на неё. Он помнил мать смутно, всё-таки помнил, а Кичи забыла сына. Грозно зарывав, она оскалила на него зубы, и Белый Клык вспомнил всё. Детство и то, о чём говорило это рычание, предстало перед ним. До встречи с богами Кичи была для Белого Клыка центром вселенной. Старые чувства вернулись и овладели им. Он подскочил к матери, но она встретила его оскаленной пастью и распорола ему скулу до самой кости. Белый Клык не понял, что произошло, и растерянно попятился назад, ошеломлённый таким приёмом.

Но Кичи была не виновата. Волчицы забывают своих волчат, которым исполнился год или больше года. Так и Кичи забыла Белого Клыка. Он был для неё незнакомцем, чужаком, и выводок, которым она обзавелась за это время, давал ей право враждебно относиться к таким незнакомцам.

Один из её щенков подполз к Белому Клыку. Сами того не зная, они приходились друг другу сводными братьями. Белый Клык с любопытством обнюхал щенка, за что Кичи ещё раз наскочила на него и расплосовала ему морду. Белый Клык попятился ещё дальше. Все старые воспоминания, воскресшие было в нём, снова умерли и превратились в прах. Он смотрел на Кичи, которая лизала своего детёныша и время от времени поднимала голову и рычала. Теперь

Кичи была не нужна Белому Клыку. Он научился обходиться без неё и забыл, чем она была дорога ему. В его мире не осталось места для Кичи, так же как и в её мире не осталось места для Белого Клыка.

Воспоминаний как не бывало — он стоял растерянный, ошеломлённый всем случившимся. И тут Кичи метнулась к нему в третий раз, прогоняя его с глаз долой. Белый Клык покорился. Кичи была самка, а по закону, установленному его породой, самцы не должны драться с самками. Он ничего не знал об этом законе, он постиг его не на основании жизненного опыта, — этот закон был подсказан ему инстинктом, тем самым инстинктом, который заставлял его выть на луну, на ночные звёзды, бояться смерти и неизвестного.

Месяцы шли один за другим. Сил у Белого Клыка всё прибавлялось, он становился крупнее, шире в плечах, а характер его развивался по тому пути, который предопределяли наследственность и окружающая среда. Белый Клык был создан из материала, мягкого, как глина, и таившего в себе много всяких возможностей. Среда лепила из этой глины всё, что ей было угодно, придавая ей любую форму. Так, не подойди Белый Клык на огонь, зажжённый человеком, Северная глушь сделала бы из него настоящего волка. Но боги даровали ему другую среду, и из Белого Клыка получилась собака, в которой было много волчьего, и всё-таки это была собака, а не волк.

И вот под влиянием окружающей обстановки податливый материал, из которого был сделан Белый Клык, принял определённую форму. Это было неизбежно. Он становился всё угрюмее, злее, он сторонился своих братьев. И они поняли, что с ним лучше жить в мире, чем враждовать, а Серый Бобр день ото дня всё больше и больше ценил его.

Но возмужалость не освободила Белого Клыка от одной слабости: он не терпел, когда над ним смеялись. Человеческий смех выводил его из себя. Люди могли смеяться между собой над чем угодно, и он не обращал на это внимания. Но стоило кому-нибудь засмеяться над ним, как он приходил в ярость: степенная, полная достоинства собака неистовствовала до нелепости. Смех так озлоблял её, что она превращалась в сущего дьявола. И горе тем щенкам, которые попадались Белому Клыку в эти минуты! Он слишком хорошо знал закон, чтобы вымещать злобу на Сером Бобре; Серому Бобру помогали палка и ум, а у щенков не было ничего, кроме открытого пространства, которое и спасало их, когда перед ними появлялся Белый Клык, доведённый смехом до бешенства.

Когда Белому Клыку пошёл третий год, индейцев, живших на реке Маккензи, постиг голод. Летом не ловилась рыба. Зимой олени ушли со своих обычных мест. Лоси попадались редко, зайцы почти исчезли. Хищные животные гибли. Изголодавшись, ослабев от голода, они стали пожирать друг друга. Выживали только сильные. Боги Белого Клыка всегда промышляли охотой. Старые и слабые среди них умирали один за другим. В посёлке стоял плач. Женщины и дети уступали свою жалкую долю еды отощавшим, осунувшимся охотникам, которые рыскали по лесу в тщетных поисках дичи.

Голод довёл богов до такой крайности, что они ели мокасины и рукавицы из сыромятной кожи, а собаки съедали свою упряжь и даже бичи. Кроме того, собаки ели друг друга, а боги ели собак. Сначала покончили с самыми слабыми и менее ценными. Собаки, оставшиеся в живых, видели всё это и понимали, что их ждёт такая же участь. Те, что были посмелее и поумнее, покинули костры, разведённые человеком, около которых теперь шла бойня, и убежали в лес, где их ждала голодная смерть или волчьи зубы.

В это тяжёлое время Белый Клык тоже убежал в лес. Он был более приспособлен к жизни, чем другие собаки, — сказывалась школа, пройденная в детстве. Особенно искусно выслеживал он маленьких зверьков. Он мог часами следить за каждым движением осторожной белки и ждать, когда она решится слезть с дерева на землю; при этом он проявлял такое громадное

терпение, которое ни в чём не уступало мучившему его голоду. Белый Клык никогда не торопился. Он выжидал до тех пор, пока можно было действовать наверняка, не боясь, что белка опять удерёт на дерево. Тогда, и только тогда, Белый Клык с молниеносной быстротой выскакивал из своей засады, как снаряд, никогда не пролетающий мимо намеченной цели — мимо белки, которую не могли спасти её быстрые ноги.

Но хотя охота на белок обычно кончалась удачей, одно обстоятельство мешало Белому Клыку наесться досыта: белки попадались редко, и ему волей-неволей приходилось охотиться на более мелкую дичь. По временам голод так мучил его, что он не останавливался даже перед тем, чтобы выкапывать мышей из норок. Не погнушался он и вступить в бой с лаской, такой же голодной, как он сам, но в тысячу раз более свирепой.

Когда голод донимал Белого Клыка особенно жестоко, он подкрадывался поближе к кострам богов, но вплотную к ним не подходил. Он бегал по лесу, избегая встреч с богами, и обкрадывал силки, когда в них изредка попадалась дичь. Однажды он даже обворовал силок на зайца, поставленный Серым Бобром, а Серый Бобр в это время шёл, пошатываясь, по лесу и то и дело садился отдыхать, еле переводя дух от слабости.

Как-то раз Белый Клык наткнулся на молодого волка, измождённого и еле державшегося на ногах. Если бы Белый Клык не был так голоден, он, вероятно, отправился бы дальше с ним и в конце концов примкнул бы к волчьей стае, но сейчас ему не оставалось ничего другого, как погнаться за волком, задрать и съесть его.

Судьба, казалось, благоприятствовала Белому Клыку. Всякий раз, когда недостаток в пище ощущался особенно остро, он находил какую-нибудь добычу. Счастье не изменило ему даже в те дни, когда сил совсем не стало, — ни разу за это время он не попался на глаза более крупным хищникам. Однажды, подкрепившись рысью, которой хватило на целых два дня, Белый Клык встретился с волчьей стаей. Началась долгая, жестокая погоня, но Белый Клык был крепче волков и в конце концов убежал от них. И не только убежал, а описал большой круг и, вернувшись назад, напал на одного из своих измождённых преследователей.

Вскоре Белый Клык покинул эти места и отправился в долину, на свою родину. Разыскав прежнее логовище, он встретил там Кичи. Кичи тоже покинула негостеприимные костры богов и, как только ей пришла пора цениться, вернулась в пещеру. К тому времени, когда около пещеры появился Белый Клык, из всего выводка Кичи остался лишь один волчонок, но и он доживал последние дни, — молодой жизни трудно было уцелеть в такой голод.

Приём, который Кичи оказала своему взрослому сыну, нельзя было назвать тёплым. Но Белый Клык отнёсся к этому равнодушно. Не нуждаясь больше в матери, он невозмутимо отвернулся от неё и побежал вверх по ручью. На левом его рукаве Белый Клык нашёл логовище рыси, с которой некогда ему пришлось сразиться вместе с матерью. Здесь, в заброшенной норе, он лёг и отдыхал весь день.

Ранним летом, когда голодовка уже подходила к концу, Белый Клык встретил Лип-Липа, который, так же как и он, убежал в лес и влачил там жалкое существование. Белый Клык встретил его совершенно неожиданно. Огибая с противоположных сторон выступ крутого берега, они одновременно выбежали из-за высокой скалы и столкнулись нос к носу. Оба замерли, испуганные такой встречей, и уставились друг на друга.

Белый Клык был в прекрасном состоянии. Всю эту неделю он очень удачно охотился и ел много, а последней своей добычей был сыт до отвала. Но стоило ему только увидеть Лип-Липа, как шерсть у него на спине встала дыбом. Он оцетинился совершенно произвольно — это внешнее проявление злобы в прошлом сопровождало каждую встречу с забиякой Лип-Липом. Гак было и теперь: завидев своего врага. Белый Клык оцетинился и зарычал на него. Ни одна минута не пропала даром. Вес было сделано быстро, в одно мгновение. Лип-Лип попятился

назад, но Белый Клык сшибся с ним плечо к плечу, сбил его с ног, опрокинул на спину и впился зубами в его жилистую шею. Лип-Лип бился в предсмертных судорогах, а Белый Клык похаживал вокруг, не сводя с него глаз. Затем он снова пустился в путь и исчез за крутым поворотом берега.

Вскоре после этого Белый Клык выбежал на опушку леса и по узкой прогалине спустился к реке Маккензи. Он забегал сюда и раньше, но тогда на этом берегу было пусто, а сейчас тут виднелся посёлок. Белый Клык остановился и, не выходя из-за деревьев, стал осматриваться. Звуки и запахи показались ему знакомыми. Это был старый посёлок, перебравшийся на другое место, но в его звуках и запахах чувствовалось что-то новое. Не слышно было ни воя, ни плача. Эти звуки творили о довольстве. И когда Белый Клык услышал сердитый женский голос, он понял, что так сердиться можно только на сытый желудок. В воздухе пахло рыбой — значит, в посёлке была пища. Голод кончился. Он смело вышел из лесу и побежал прямо к хозяйскому вигваму. Самого хозяина не было дома, но Клу-Куч встретила Белого Клыка радостными криками, дала ему целую свежую рыбину, и он лёг и стал ждать возвращения Серого Бобра.

Глава 1

Враг

Если в натуре Белого Клыка была заложена хоть малейшая возможность сблизиться с представителями его породы, то возможность эта безвозвратно погибла после того, как он стал вожакom упряжки. Собаки возненавидели его; возненавидели за то, что Мит-Са подкидывал ему лишний кусок мяса; возненавидели за все те действительные и воображаемые преимущества, которыми он пользовался; возненавидели за то, что он всегда бежал в голове упряжки, доводя их до бешенства одним видом своего пушистого хвоста и быстро мелькающих ног.

И Белый Клык проникся к собакам точно такой же острой ненавистью. Роль вожака не доставляла ему ни малейшего удовольствия. Он через силу мирился с тем, что ему приходится убегать от заливающихся лаем собак, которые в течение трёх лет находились под его властью. Но с этим надо было мириться, иначе ему грозила гибель, а жизни, бившей в нём ключом, гибнуть не хотелось. Лишь только Мит-Са трогал с места, вся упряжка с яростным лаем кидалась в погоню за Белым Клыком.

Защищаться он не мог: стоило ему повернуть голову к собакам, как Мит-Са хлестал его по морде бичом. Белому Клыку не оставалось ничего другого, как мчаться вперёд. Отражать хвостом и задними ногами нападение неси завывающей своры он не мог, — таким оружием нельзя обороняться против множества безжалостных клыков. И Белый Клык нёсся вскачь, каждым прыжком насилуя свою природу и унижая свою гордость, а бежать как приходилось целый день.

Такое насилие над собой не проходит безнаказанно. Если волос, выросший на теле, заставить расти в глубь кожи, он будет причинять мучительную боль. То же самое происходило и с Белым Клыком. Всем своим существом он стремился разделаться с собаками, преследующими его по пятам, но волю богов нарушать было нельзя, тем более что воля их подкреплялась ударами тридцатифутового бича, свитого из оленьих кишок. И Белый Клык терпел всё это, затаив в себе такую ненависть и злобу, на какую только был способен его свирепый и неукротимый нрав.

Если какое-нибудь живое существо и можно было назвать врагом своих собратьев, то это относилось именно к Белому Клыку. Он никогда не просил пощады, и сам никого не щадил. Раны и шрамы не сходили у него с тела, а собаки, в свою очередь, не расставались с отметинами его зубов. В противоположность многим вожакам, кидавшимся под защиту богов, как только собак распрягали, Белый Клык пренебрегал такой защитой. Он безбоязненно разгуливал по стоянке, ночью расправляясь с собаками за всё то, что приходилось терпеть от них днём. В те времена, когда Белый Клык ещё не был вожакom, его теперешние товарищи по упряжке обычно старались не попадаться ему на дороге. Теперь положение изменилось. Погоня, длившаяся с утра и до вечера, сознание, что весь день Белый Клык убегал от них, находился в их власти, — всё это не позволяло собакам отступать перед ним. Стоило ему появиться среди стаи, сейчас же начиналась драка. Его прогулки по стоянке сопровождались рычанием, грызнёй, визгом. Самый воздух, которым он дышал, был насыщен ненавистью и злобой, и это лишь усиливало ненависть и злобу в нём самом.

Когда Мит-Са приказывал упряжке остановиться, Белый Клык слушался его окрика. На первых порах эта остановка вызывала замешательство среди собак, все они набрасывались на ненавистного вожака. Но тут дело принимало совсем другой оборот: размахивая бичом, на помощь Белому Клыку приходил Мит-Са. И собаки поняли наконец, что, если сани останавливаются по приказанию Мит-Са, вожака лучше не трогать. Но если Белый Клык

останавливался самовольно, значит, над ним можно было чинить расправу.

Вскоре Белый Клык перестал останавливаться без приказа. Такие уроки усваиваются быстро. Да Белый Клык и не мог не усваивать их, иначе он не выжил бы в той суровой среде, которую уготовила ему жизнь.

Но для собак эти уроки пропадали даром — они не оставляли его в покое на стоянках. Дневная погоня и яростный лай, в который упряжка вкладывала всю свою ненависть к вожаку, заставляли её забывать то, что было предыдущей ночью; на следующую ночь урок повторялся, но к утру от него не оставалось и следа. Кроме того, вражду собак к Белому Клыку питало ещё одно немаловажное обстоятельство: они чувствовали в нём иную породу, и этого было вполне достаточно, чтобы противопоставить их друг другу.

Так же как и Белый Клык, все они были приручённые волки, но за ними стояло уже несколько приручённых поколений. Много, чем наделяет волка Северная глушь, было уже утеряно, и для собак в Северной глуши таилась лишь неизвестность, вечная угроза и вечная вражда. Но внешность Белого Клыка, все его повадки и инстинкты говорили о крепкой связи с Северной глушью; он был символом и олицетворением её. И поэтому, скаля на него зубы, собаки тем самым охраняли себя от гибели, таившейся в сумраке лесов и во тьме, со всех сторон обступавшей костры человека.

Впрочем, один урок собаки заучили твёрдо: надо держаться вместе. Белый Клык был слишком опасным противником, и никто не решался встретиться с ним один на один. Собаки нападали на него всей сворой, иначе он разделался бы с ними за одну ночь. И Белому Клыку не удавалось разделаться ни с одним из своих врагов. Он сбивал противника с ног, но стая сейчас же набрасывалась на него, не давая ему прокусить собаке горло. При малейшем намёке на ссору вся упряжка дружно ополчалась на своего вожака. Собаки постоянно грызлись между собой, но стоило только кому-нибудь из них затеять драку с Белым Клыком, как все прочие ссоры мигом забывались.

Однако загрызть Белого Клыка они не могли при всём севезём старании. Он был слишком подвижен для них, слишком грозен и умён. Он избегал тех мест, где можно было попасть в ловушку, и всегда ускользал, когда свора старалась окружить его кольцом. А о том, чтобы сбить Белого Клыка с ног, не могла помышлять ни одна собака. Ноги его с таким же упорством цеплялись за землю, с каким сам он цеплялся за жизнь. И поэтому в той нескончаемой войне, которую Белый Клык вёл со стаей, сохранить жизнь и удержаться на ногах — были для него понятия равнозначные, и никто не знал этого лучше, чем он сам.

Итак, Белый Клык стал непримиримым врагом своим собратьев — врагом волков, которые пригрелись у костра, разведённого человеком, и изнежились под спасительной сенью человеческого могущества. Таким сделала его жизнь. Он объявил кровную месть всем собакам и мстил так жестоко, что даже Серый Бобр, в котором было достаточно ярости и дикости, не мог надивиться злобе Белого Клыка. «Нет другой такой собаки!» — говорил Серый Бобр. И индейцы из чужих посёлков подтверждали его слова, вспоминая, как Белый Клык расправлялся с их собаками.

Белому Клыку было около пяти лет, когда Серый Бобр снова взял его с собой в длинное путешествие, и в посёлках у Скалистых Гор, вдоль рек Маккензи и Поркьюпайн, вплоть до самого Юкона, долго помнили расправы Белого Клыка с собаками. Он упивался своей мстостью. Чужие собаки не ждали от него ничего плохого, им не приходилось встречаться с противником, который нападал бы так внезапно. Они не знали, что имеют дело с врагом, убивающим, как молния, с одного удара. Собаки в чужих посёлках подходили к Белому Клыку с вызывающим видом, а он, не теряя времени на предварительные церемонии, кидался на них стремительно, словно развернувшаяся стальная пружина, хватал за горло и убивал противника, не дав ему

опомниться от изумления.

Белый Клык стал опытным бойцом. Он дрался расчётливо, никогда не тратил сил понапрасну, не затягивал борьбы. Он налетал и, если случалось промахнуться, сейчас же отскакивал назад. Как и все волки. Белый Клык избегал длительного соприкосновения с противником. Он не выносил этого. Такое соприкосновение — таило в себе опасность и приводило его в бешенство. Он хотел быть свободным, хотел твёрдо держаться на ногах. Северная глушь не выпускала Белого Клыка из своих цепких объятий и утверждала свою власть над ним. Отчуждённость с самого раннего детства от общества ему подобных только усилила в нём это стремление к свободе. Непосредственная близость к противнику таила в себе какую-то угрозу, Белый Клык подозревал здесь ловушку, и страх перед этой ловушкой не покидал его.

Чужие собаки не могли тягаться с ним. Белый Клык увёртывался от их клыков; он расправлялся с ними и убегал невредимый. Правда, нет правила без исключения. Бывало и так, что на Белого Клыка налетало сразу несколько противников и он не успевал убежать от них, а иногда ему здорово влетало и от какой-нибудь одной собаки. Но это случалось редко. Белый Клык стал таким искусным бойцом, что выходил с честью почти из всех драк.

Он обладал ещё одним достоинством — умением правильно рассчитывать время и расстояние. Делалось это, разумеется, совершенно бессознательно. Просто его никогда не подводило зрение, и весь его организм, слаженный лучше, чем у других собак, работал точно и быстро; координация сил умственных и физических была совершеннее, чем у них. Когда зрительные нервы передавали мозгу Белого Клыка движущееся изображение, его мозг без всякого усилия определял пространство и время, необходимое для того, чтобы это движение завершилось. Таким образом, он мог увернуться от прыжка собаки или от её клыков и в то же время использовать каждую секунду, чтобы самому броситься на противника. Но воздавать ему хвалу за это не следует, — природа одарила его более щедро, чем других, вот и всё.

Было лето, когда Белый Клык попал в форт Юкон. В конце зимы Серый Бобр пересёк водораздел между Маккензи и Юконом и всю весну проохотился на западных отрогах Скалистых Гор. А когда река Поркьюпайн очистилась ото льда, Серый Бобр сделал пирогу и спустился вниз по ней к месту слияния её с Юконом, как раз под самым Полярным кругом. Здесь стоял форт Компании Гудзонова залива. В форте было мною индейцев, много съестных припасов, — повсюду царило небывалое оживление. Было лето 1898 года, и золотоискатели тысячами двигались вверх по Юкону, к Доусону и на Клондайк. До цели путешествия им оставались ещё сотни миль, а между тем многие из них находились в нуги уже год; меньше пяти тысяч миль не сделал никто, а некоторые приехали сюда с другого конца света.

В форте Юкон Серый Бобр сделал остановку. Слухи о золотой лихорадке достигли и его ушей, и он привёз с собой несколько тюков с мехами и один тюк с рукавицами и мокасинами. Серый Бобр никогда не отважился бы пуститься в такой далёкий путь, если б его не привлекла сюда надежда на большую наживу. Но то, что Серый Бобр увидел здесь, превзошло все его ожидания. В самых своих безудержных мечтах он рассчитывал выручить от продажи мехов сто процентов, а убедился, что можно выручить и тысячу. И, как истинный индеец, Серый Бобр принялся за дело не спеша, решив просидеть здесь хоть до осени, только бы не просчитаться и не продешевить.

В форте Юкон Белый Клык впервые увидел белых людей. Рядом с индейцами они казались ему существами другой породы — богами, власть которых опиралась на ещё большее могущество. Эта уверенность пришла к Белому Клыку сама собой; ему не надо было напрягать свои мыслительные способности, чтобы убедиться в могуществе белых богов. Он только чувствовал его, но чувствовал с необычайной силой. Вигвамы, построенные индейцами, казались ему когда-то свидетельством величия человека, а теперь его поражал громадный форт

и дома из толстых брёвен. Всё это говорило о могуществе. Белые боги обладали силой. Власть их простиралась дальше власти прежних богов Белого Клыка, среди которых самым могущественным существом был Серый Бобр. Но и Серый Бобр казался ничтожеством по сравнению с белокожими богами.

Разумеется, Белый Клык только чувствовал всё это и не отдавал себе ясного отчёта в своих ощущениях. Но животные действуют чаще всего на основании именно таких ощущений; и каждый поступок Белого Клыка объяснялся теперь уверенностью в могуществе белых богов. Он относился к ним с большой опаской. Кто знает, какого неведомого ужаса и какой новой беды можно ждать от них? Белый Клык с любопытством наблюдал за белыми богами, но боялся попадаться им на пути. Первые несколько часов он довольствовался тем, что настороженно следил за ними издали, но потом, увидев, что белые боги не причиняют никакого вреда своим собакам, подошёл поближе.

В свою очередь, Белый Клык привлекал к себе всеобщее внимание: его сходство с волком сразу же бросалось в глаза, и люди показывали на него друг другу пальцами. Это заставило Белого Клыка насторожиться. Лишь только кто-нибудь подходил к нему, он скалил зубы и отбегал в сторону. Людям так и не удавалось дотронуться до него рукой — и хорошо, что не удавалось.

Вскоре Белый Клык узнал, что очень немногие из этих богов — всего человек десять — постоянно живут в форте. Каждые два-три дня к берегу приставал пароход (ещё одно великое доказательство всемогущества белых людей) и по нескольку часов стоял у причала. Боги приезжали и снова уезжали на пароходах. Казалось, людям этим нет числа. В первые же два дня Белый Клык увидел их столько, сколько не видел индейцев за всю свою жизнь. И каждый день они приезжали, ходили по форту и снова уезжали вверх по реке.

Но если белые боги были всемогущи, то собаки их ничего не стоили. Белый Клык быстро убедился в этом, столкнувшись с теми, что сходили на берег вместе со своими хозяевами. Вес они были не похожи одна на другую. У одних были короткие, слишком короткие ноги; у других — длинные, слишком длинные. Вместо густого меха их покрывала короткая шерсть, а у некоторых и шерсти почти не было. И ни одна из этих собак не умела драться.

Питая ненависть ко всей своей породе, Белый Клык считал себя обязанным вступать в драку и с этими собаками. После нескольких стычек он проникся к ним глубочайшим презрением: они оказались неуклюжими, беспомощными и старались одолеть Белого Клыка одной силой, тогда как он брал сноровкой и хитростью. Собаки кидались на него с лаем. Белый Клык прыгал в сторону. Они теряли его из виду, и тогда он налетал на них сбоку, сбивал плечом с ног и вцеплялся им в горло.

Часто укус этот бывал смертельным, и его противник бился в грязи под ногами индейских собак, которые только и ждали той минуты, когда можно будет броситься всей стаей и разорвать чужака на куски. Белый Клык был мудр. Он уже давно знал, что боги гnevаются, когда кто-нибудь убивает их собак. Белые боги не составляли исключения. Поэтому, свалив противника с ног и прокусив ему горло, он отбегал в сторону и позволял стае доканчивать начатое им дело. В это время белые люди подбегали и обрушивали свой гнев на стаю, а Белый Клык выходил сухим из воды. Обычно он стоял в стороне и наблюдал, как его собратьев бьют камнями, палками, топорами и всем, что только попадалось людям под руку. Белый Клык был мудр.

Но его собратья тоже кое-чему научились: они поняли, что самая потеха начинается в ту минуту, когда пароход пристаёт к берегу. Вот собаки сбежали с парохода, и две-три из них мгновенно оказались растерзанными. Тогда люди загоняют остальных обратно и принимаются за жестокую расправу. Однажды белый человек, на глазах у которого разорвали его сеттера, выхватил револьвер. Он выстрелил шесть раз подряд, и шесть собак из стаи повалились

замертво. Это было ещё одно проявление могущества белых людей, надолго запомнившееся Белому Клыку.

Белый Клык упивался всем этим, он не жалел своих собратьев, а сам ухитрялся оставаться в таких стычках невредимым. На первых порах драки с собаками белых людей просто развлекали его, потом он принялся за это по-настоящему. Другого дела у него не было. Серый Бобр занялся торговлей, богател. И Белый Клык слонялся по пристани, поджидая вместе со сворой беспутных индейских собак прибытия пароходов. Как только пароход причаливал к берегу, начиналась потеха. К тому времени, когда белые люди приходили в себя от неожиданности, собачья свора разбегалась в разные стороны и ожидала следующего парохода.

Однако Белого Клыка нельзя было считать членом собачьей своры. Он не смешивался с ней, держался в стороне, никогда не терял своей независимости, и собаки даже побаивались его. Правда, он действовал с ними заодно. Он затевал ссору с чужаком и сбивал его с ног. Тогда собаки кидались и приканчивали чужака, а Белый Клык сейчас же удирал, предоставляя своре получать наказание от разгневанных богов.

Для того чтобы затеять такую ссору, не требовалось большого труда. Белому Клыку стоило только показаться на пристани, когда чужие собаки сходили на берег, — и этого было достаточно, они кидались на него. Так повелевал им инстинкт. Собаки чуяли в Белом Клыке Северную глушь, неизвестное, ужас, вечную угрозу; чуяли в нём то, что ходило, крадучись, во мраке, окружающем человеческие костры, когда они, подобравшись к этим кострам, отказывались от своих прежних инстинктов и боялись Северной глуши, покинутой и преданной ими. От поколения к поколению передавался собакам этот страх перед Северной глушью. Северная глушь грозила гибелью, но их повелители дали им право убивать всё живое, что приходит оттуда. И, воспользовавшись этим правом, они защищали себя и богов, допустивших их в своё общество.

И поэтому выходцам с Юга, сбжавшим по сходням на берег Юкона, достаточно было увидеть Белого Клыка, чтобы почувствовать непреодолимое желание кинуться и растерзать его. Среди приезжих собак попадались и городские, но инстинктивный страх перед Северной глушью сохранился и в них. На представшего перед ними среди бела дня зверя, похожего на волка, они смотрели не только своими глазами, — они смотрели на Белого Клыка глазами предков, и память, унаследованная от всех предыдущих поколений, подсказывала им, что перед ними стоит волк, к которому порода их питает извечную вражду.

Всё это доставляло удовольствие Белому Клыку. Если одним своим видом он заставляет собак кидаться в драку, тем лучше для него и тем хуже для них. Они чуяли в Белом Клыке свою законную добычу, и точно так же относился к ним и он.

Недаром Белый Клык впервые увидел дневной свет в уединённом логовище и в первых же своих битвах имел таких противников, как белая куропатка, ласка и рысь. И недаром его раннее детство было омрачено враждой с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак. Сложись его жизнь по-иному — и он сам был бы иным. Не будь в посёлке Лип-Липа, Белый Клык подружился бы с другими щенками, был бы больше; похож на собаку и с большей терпимое чью относился бы к своим собратьям. Будь Серый Бобр мягче и добрее, он сумел бы пробудить в нём чувство привязанности и любви. Но всё сложилось по-иному. Жизнь круто обошлась с Белым Клыком, и он стал угрюмым, замкнутым, злобным зверем — врагом своих собратьев.

Глава 2

Сумасшедший бог

Белых людей в форте Юкон было немного. Все они уже давно жили здесь, называли себя «кислым тестом» и очень гордились этим. Тех, кто приезжал сюда из других мест, старожилы презирали. Люди, сходявшие с парохода на берег, были новичками и назывались «чечако». Новички сильно недолго любили своё прозвище. Они замешивали тесто на сухих дрожжах, и это проводило резкую грань между ними и старожилками, которые ставили хлеб на закваске, потому что дрожжей у них не было.

Но всё это — между прочим. Жители форта презирали приезжих и радовались всякий раз, когда у тех случалась какая-нибудь неприятность. Особенное удовольствие доставляли им расправы Белого Клыка и всей бесчинствующей своры с чужими собаками. Как только пароход подходил, старожилы форта спешили на берег, чтобы не прозевать потехи. Они предвкушали развлечение не меньше индейских собак и, конечно, сейчас же оценили ту роль, какую играл в этих драках Белый Клык.

Но был среди старожилков один человек, которому эта забава доставляла особенное удовольствие. Заслышав гудок приближающегося парохода, он со всех ног пускался к берегу, а когда драка заканчивалась и свора собак разбегалась в разные стороны, человек этот медленно уходил с пристани, всем своим видом выражая глубокое сожаление. Часто, когда изнеженная южная собака с предсмертным воем падала на землю и погибала, раздираемая на клочки налетевшей на неё сворой, человек этот кричал и прыгал от восторга. И каждый раз он завистливо поглядывал на Белого Клыка.

Старожилы форта прозвали этого человека «Красавчиком». Настоящего его имени никто не знал, и в здешних местах он был известен как Красавчик Смит. Правда, красивого в нём было мало; поэтому, вероятно, ему и дали такое прозвище. Он был на редкость уродлив. Создавая его, природа поскупилась. Он был низкорослый, а на его щуплом теле сидела неправильной формы, удлинённая голова. В детстве, ещё до того как за ним укрепилось новое прозвище, «Красавчик», сверстники звали его «Гвоздиком».

Затылок у Смита был совершенно приплюснутый, лоб низкий и несуразно широкий. А потом природа вдруг расщедрилась и наделила Красавчика Смита вылупленными глазами, к тому же расставленными так широко, что между ними могла бы поместиться ещё одна пара глаз. Чтобы как-нибудь заполнить оставшееся свободное пространство, природа дала ему тяжёлую нижнюю челюсть, которая выдавалась вперёд и чуть ли не лежала у него на груди, а может быть, это только так казалось, ибо шея у Красавчика Смита была слишком тонка для такой громоздкой ноши.

Нижняя челюсть придавала его лицу выражение свирепой решительности, но в эту решительность как-то не верилось, — возможно, потому, что челюсть была слишком уж велика и массивна. Другими словами, никакой решительности в натуре Красавчика Смита не было и в помине. Он слыл повсюду за презренного, жалкого труса. Для полноты картины следует упомянуть, что зубы у него были длинные и жёлтые, а оба клыка вылезали наружу из-под тонких губ. На глаза у природы, видимо, не хватило краски, она соскребла для них все остатки со своей палитры — и получилось нечто мутно-жёлтое. То же самое можно сказать и про жидкие волосы, которые клочьями торчали у него на голове и на скулах, напоминая растрёпанный ветром сноп соломы.

Короче говоря, Красавчик Смит был урод, но винить в этом его самого не следует. Таким уж человек появился на свет божий. Он стряпал на жителей форта, мыл посуду и исполнял всякую

чёрную работу. В форте к нему относились терпимо и даже снисходительно, как к существу, которому не повезло в жизни. Кроме того, Красавчика Смита побаивались. От такого злобного труса можно было получить и пулю в спину и стакан кофе с отравой. Но ведь кому-нибудь нужно было заниматься стряпнёй, а Красавчик Смит, несмотря на все его недостатки, знал своё дело.

Таков был человек, который восхищался отчаянной удалью Белого Клыка и мечтал завладеть им. Красавчик Смит начал заигрывать с Белым Клыком. Тот не обращал на это никакого внимания. Когда заигрывания стали настойчивее, Белый Клык скалил на Красавчика Смита зубы, ощетикивался и убегал. Этот человек не нравился ему. Белый Клык чуял в нём что-то злое и ненавидел его, боясь его протянутой руки и вкрадчивого голоса.

Добро и зло воспринимаются простым существом очень просто. Добро есть неё то, что прекращает боль, что несёт с собой свободу и удовлетворение. Поэтому добро приятно. Зло же ненавистно, потому что оно приносит беспокойство, опасность, страдание. Как над гнилым болотом поднимается туман, так и от уродливого тела и грязной душонки Красавчика Смита веяло чем-то дурным, нездоровым. Бессознательно, словно с помощью шестого чувства, Белый Клык угадывал, что этот человек таит в себе зло, грозит гибелью и что его надо ненавидеть.

Белый Клык был дома, когда Красавчик Смит впервые зашёл на стоянку Серого Бобра. Ещё задолго до появления Красавчика Смита, по одному звуку его шагов, Белый Клык понял, кто идёт к ним, и ощетикился. Хотя ему было и очень удобно лежать, но лишь только этот человек подошёл ближе, он сейчас же поднялся и бесшумно, как настоящий волк, отбежал в сторону. Белый Клык не знал, о чём шёл разговор с этим человеком у Серого Бобра, он видел только, что хозяин разговаривает с ним. Во время беседы Красавчик Смит показал на Белую Клыка пальцем, и тот зарычал, как будто эта рука была не на расстоянии пятидесяти футов от него, а опускалась ему на спину. Красавчик Смит захохотал, и Белый Клык решил скрыться в лес и, убегая, всё оглядывался назад, на разговаривавших людей.

Серый Бобр отказался продать собаку. Он разбогател, у него всё есть. Кроме того, лучшей ездовой собаки и лучшего жоака нигде не сыщешь — ни на Маккензи, ни на Юконе. Белый Клык мастер драться. Разорвать собаку ему ничего не стоит — всё равно что человеку прихлопнуть комара. (Глаза у Красавчика Смита заблестели при этих словах, и он с жадностью облизал свои тонкие губы.) Нет, Серый Бобр ни за какие деньги не продаст Белого Клыка.

Но Красавчик Смит хорошо знал индейцев. Он стал часто наведываться к Серому Бобру и каждый раз приносил за пазухой бутылку. Виски обладает одним могучим свойством — оно возбуждает жажду. И такая жажда появилась у Серого Ковра. Его нутро требовало всё больше и больше этой жгучей жидкости, и, потеряв с непривычки к ней власть над собой, он был готов на что угодно, лишь бы раздобыть эту жидкость. Деньги, вырученные от продажи мехов, рукавиц и мокасин, начали таять. Их становилось всё меньше и меньше, и чем больше пустел мешок, в котором они хранились у Серого Бобра, тем он становился беспокойнее.

Наконец всё ушло — и деньги, и товары, и спокойствие. У Серого Бобра осталась только жажда, которая росла с каждой минутой. И тогда Красавчик Смит снова завёл речь о продаже Белого Клыка; но на этот раз цена определялась уже не долларами, а бутылками виски, и Серый Бобр прислушался к предложению более внимательно.

— Сумеешь поймать — собака твоя, — было его последнее слово.

Бутылки перешли к нему, но через два дня Красавчик Смит сам сказал Серому Бобру:

— Поймай собаку.

Вернувшись как-то вечером домой, Белый Клык со вздохом облегчения улёгся около вигвама. Страшного белого бога не было. За последние дни он всё больше и больше приставал к Белому Клыку, и тот предпочёл на это время совсем уйти из дому. Он не знал, какую опасность

таят в себе руки этого человека, он только чуял что-то недоброе и решил держаться от них подальше.

Как только Белый Клык улёгся, Серый Бобр, пошатываясь, подошёл к нему и обвязал ремень вокруг его шеи. Потом Серый Бобр сел рядом с Белым Клыком, держа в одной руке конец ремня. В другой он держал бутылку и то и дело прикладывался к ней, и тогда Белый Клык слышал бульканье.

Так прошёл час, и вдруг до ушей Белого Клыка донёс лист, звуки чьих-то шагов. Он различил их первый и, догадавшись, кто идёт, весь ощетинился. Серый Бобр сидел и клевал носом. Белый Клык осторожно потянул ремень из рук хозяина, но ослабевшие пальцы сжались крепче, и Серый Бобр проснулся.

Красавчик Смит подошёл к вигваму и остановился рядом с Белым Клыком. Тот глухо зарычал на это страшное существо, не сводя глаз с его рук. Одна рука вытянулась вперёд и стала опускаться над его головой. Белый Клык зарычал громче. Рука продолжала медленно опускаться, а Белый Клык, злобно глядя на неё и уже задыхаясь от яростного рычания, всё ниже и ниже припадал к земле. И вдруг его зубы сверкнули, как у змеи, и с резким металлическим звуком лязгнули в воздухе. Рука отдёргнулась вовремя. Красавчик Смит испугался и расвирепел. Серый Бобр ударил Белого Клыка по голове, и тот снова покорно лёг на землю. Белый Клык следил за каждым движением обоих людей. Он увидел, что Красавчик Смит ушёл и вскоре вернулся с увесистой палкой. Серый Бобр передал ему ремень. Красавчик Смит шагнул вперёд. Ремень натянулся. Белый Клык всё ещё лежал. Серый Бобр ударил его несколько раз, заставляя подняться с места. Белый Клык повиновался и прыгнул прямо на чужого человека, который хотел увести его с собой. Тот ждал этого нападения и ударом палки свалил Белого Клыка на землю, остановив его прыжок на полпути. Серый Бобр засмеялся и одобрительно закивал головой. Красавчик Смит снова потянул за ремень, и Белый Клык, оглушённый ударом, с трудом поднялся на ноги.

Он не повторил своего прыжка. Одного такого удара было достаточно, чтобы убедить его, что белый бог не зря держит палку в руках. Белый Клык был мудр и видел всю тщету борьбы с неизбежностью. Поджав хвост и не переставая глухо рычать, он поплёлся за Красавчиком Смитом, а тот не спускал с него глаз и держал палку наготове.

Придя в форт, Красавчик Смит крепко привязал Белого Клыка и улёгся спать. Белый Клык прождал час, а потом принялся за ремень и через какие-нибудь десять секунд очутился на свободе. Он не тратил времени понапрасну: ремень был перерезан наискось чисто, как ножом. Оглядевшись по сторонам, Белый Клык ощетинился и зарычал. Потом повернулся и побежал к вигваму Серого Бобра. Он не был обязан повиноваться этому чужому и страшному богу. Он отдал всего себя Серому Бобру, и никто другой, кроме Серого Бобра, не мог владеть им.

Всё предыдущее повторилось, но некоторой разницей. Серый Бобр снова привязал его и утром отвёл к Красавчику Смигу. Вот тут-то Белый Клык и ощутил эту разницу. Красавчик Смит задал ему трёпку. Белому Клыку, крепко привязанному на этот раз, не оставалось ничего другого, как метаться в бессильной ярости и сносить наказание. Красавчик Смит пустил в ход палку и хлыст, и таких побоев Белому Клыку не приходилось испытывать ещё ни разу в жизни. Даже та порка, которую когда-то давно ему задал Серый Бобр, была пустяком по сравнению с тем, что пришлось вынести теперь.

Красавчик Смит испытывал наслаждение. Он жадно глядел на свою жертву, и глаза его загорались тусклым огнём, когда Белый Клык выл от боли и рычал после каждого удара палкой или хлыстом. Красавчик Смит был жесток, как бывают жестоки только трусы. Покорно снося от людей удары и брань, он вымещал свою злобу на слабейших существах. Всё живое любит власть, и Красавчик Смит не представлял собою исключения: не имея возможности властвовать над

равными себе, он пользовался беззащитностью животных. Но Красавчика Смита не следует винить за это. Уродливое тело и низкий интеллект были даны ему от рождения, а жизнь обошлась с ним сурово и не выправила его.

Белый Клык знал, почему его бьют. Когда Серый Бобр надел ремень ему на шею и передал привязь Красавчику Смиту, Белый Клык понял, что его бог приказывает ему идти с этим человеком. И когда Красавчик Смит посадил его на привязь в форте-, он понял, что тот приказывает ему остаться здесь. Следовательно, он нарушил волю обоих богов и заслужил наказание. Ему приходилось и раньше видеть, как собак, убежавших от нового хозяина, били так же, как били сейчас его. Белый Клык был мудр, но в нём жили силы, перед которыми отступала и сама мудрость. Одной из этих сил была верность. Белый Клык не любил Серого Бобра — и всё же хранил верность ему наперекор его воле, его гневу. Он ничего не мог с собой поделать. Таким он был создан. Верность была достоянием породы Белого Клыка, верность отличала его от всех других животных, верность привела волка и дикую собаку к человеку и позволила им стать его товарищами. После избиения Белого Клыка оттащили обратно в форт, и на этот раз Красавчик Смит привязал его по индейскому способу — с палкой. Но отказываться от своего божества нелегко, и Белый Клык испытал это на себе. Серый Бобр был для него богом, и он продолжал цепляться за Серого Бобра против его воли. Серый Бобр предал и отверг Белого Клыка, но это ничего не значило. Недаром же Белый Клык отдался Серому Бобру душой и телом. Узы, связывающие его с хозяином, было не так легко порвать. И ночью, когда весь форт спал, Белый Клык принялся грызть палку, к которой его привязали. Палка была сухая и твёрдая и так близко примыкала к шее, что он с трудом, после мучительного напряжения мускулов, дотянулся до неё зубами, а для того, чтобы перегрызть привязь, ему понадобилось несколько часов терпеливейшей работы. До него ни одна собака не делала ничего подобного, но Белый Клык сделал это и рано утром убежал из форта с болтавшимся на шее огрызком палки. Белый Клык был мудр. И будь он только мудр, он не пришёл бы к Серому Бобру, уже два раза предавшему его. Но мудрость сочеталась в нём с верностью — он прибежал домой, и хозяин предал его в третий раз. Снова Белый Клык позволил надеть себе ремень на шею, и снова за ним пришёл Красавчик Смит. И на этот раз Белому Клыку досталось ещё больше. Серый Бобр безучастно смотрел, как белый человек взмахивает хлыстом. Он не пытался защитить собаку. Она уже не принадлежала ему. Когда избиение кончилось, Белый Клык был чуть жив. Изнеженная южная собака не вынесла бы таких побоев, но Белый Клык вынес. Его закалила суровая жизненная школа. Он был слишком жизнеспособен, и его хватка за жизнь была сильнее, чем у других собак. Но сейчас Белый Клык еле дышал. Он не мог даже шевельнуться, Красавчику Смиту пришлось подождать с полчаса, прежде чем вести его домой. А потом Белый Клык встал, пошатываясь, и, ничего перед собой не видя, поплёлся за Красавчиком Смитом в форт.

На этот раз его посадили на цепь, которую нельзя было перегрызть. Он старался вырвать скобу, вбитую в бревно, но все его усилия были тщетны. Через несколько дней разорившийся Серый Бобр протрезвился и отправился в долгий путь по реке Поркьюпайн на Маккензи. Белый Клык остался в форте Юкон и перешёл в полную собственность к сумасшедшему, потерявшему человеческий облик существу. Но что знает собака о сумасшествии? Для Белого Клыка Красавчик Смит стал богом — страшным, но всё же богом. Это был сумасшедший бог, но Белый Клык не знал, что такое сумасшествие; он знал только, что надо подчиняться воле этого человека и исполнять все его прихоти и капризы.

Глава 3

Царство ненависти

В руках сумасшедшего бога Белый Клык превратился в дьявола. Устроив в дальнем конце форта загородку, Красавчик Смит посадил Белого Клыка на цепь и принялся дразнить его и доводить до бешенства мелкими, но мучительными нападениями. Он очень скоро обнаружил, что Белый Клык не выносит, когда над ним смеются, и обычно заканчивал свои пытки взрывами оглушительного хохота. Издеваясь над Белым Клыком, бог показывал на него пальцем. В эти минуты собака теряла всякую власть над собой и в припадках ярости, обуревавшей её, казалась более бешеной, чем Красавчик Смит.

До сих пор Белый Клык чувствовал вражду — правда, свирепую вражду — только к существам одной с ним породы. Теперь он стал врагом всего, что видел вокруг себя. Издевательства Красавчика Смита доводили его до такого озлобления, что он слепо и безрассудно ненавидел всех и вся. Он возненавидел свою цепь, людей, глазевших на него сквозь перекладины загородки, приходивших вместе с людьми собак, на злобное рычание которых он ничем не мог ответить. Белый Клык ненавидел даже доски, из которых была сделана его загородка. Но прежде всего и больше всего он ненавидел Красавчика Смита.

Обращаясь так с Белым Клыком, Красавчик Смит преследовал определённую цель. Однажды около загородки собралось несколько человек. Красавчик Смит вошёл к Белому Клыку, держа в руке палку, и снял с него цепь. Как только хозяин вышел, Белый Клык заметался по загородке из угла в угол, стараясь добраться до глазевших на него людей. Белый Клык был великолепен в своей ярости. Полных пяти футов в длину и двух с половиной в высоту, он весил девяносто фунтов — гораздо больше любого взрослого волка. Массивный корпус собаки он унаследовал от матери, причём на теле его не было и следов жира. Мускулы, кости, сухожилия — и ни унции лишнего веса, как и подобает бойцу, который находится в прекрасной форме.

Дверь в загородку снова приоткрылась. Белый Клык остановился. Происходило что-то непонятное. Дверь открылась шире. И вдруг к нему втокнули большую собаку. Дверь тотчас же захлопнулась. Белый Клык никогда не видел такой породы (это был мастиф), но размеры и свирепый вид незнакомца ничуть не смутили его. Он видел перед собой не дерево, не железо, а живое существо, на котором можно было сорвать злобу. Сверкнув клыками, он прыгнул на мастифа и располосовал ему шею. Мастиф замотал головой и с хриплым рычанием ринулся на Белого Клыка. Но Белый Клык скакал из стороны в сторону, ухитряясь увёртываться и ускользать от противника, и в то же время успевал рвать его клыками и снова отпрыгивать назад.

Зрители кричали, аплодировали, а Красавчик Смит, дрожа от восторга, не отрывал жадного взгляда от Белого Клыка, расправлявшегося с противником Грузный, неповоротливый мастиф был обречён с самого начала, и схватка кончилась тем, что Красавчик Смит палкой отогнал Белого Клыка, а мастифа, полумёртвого, выволокли наружу. Затем проигравшие уплатили пари, и в руке Красавчика Смита зазвенели деньги.

С этого дня Белый Клык уже с нетерпением ждал той минуты, когда вокруг его загородки снова соберётся толпа. Это предвещало драку, а драка стала теперь для него единственным способом проявлять свою сущность. Сидя взаперти, затравленный, обезумевший от ненависти, он находил исход для этой ненависти только тогда, когда хозяин впускал к нему в загородку собаку. Красавчик Смит, видимо, умел рассчитывать силы Белого Клыка, потому что Белый Клык всегда выходил победителем из таких сражений. Однажды к нему впустили одну за другой трёх собак. Потом, через несколько дней, — только что пойманного взрослого волка. А в третий

раз ему пришлось драться с двумя собаками сразу. Из всех его драк это была самая отчаянная, и хотя он уложил обоих своих противников, но к концу побоища и сам еле дышал.

Осенью, когда выпал первый снег и по реке потянулось сало, Красавчик Смит взял место для себя и для Белого Клыка на пароходе, отправлявшемся вверх по Юкону в Доусон. Слава о Белом Клыке прокатилась повсюду. Он был известен под кличкой «бойцового волка», и поэтому около его клетки на палубе всегда толпились любопытные. Он рычал и кидался на зрителей или же лежал неподвижно и с холодной ненавистью смотрел на них. Разве эти люди не заслуживали его ненависти? Белый Клык никогда не задавал себе такого вопроса. Он знал только одно это чувство и весь отдавался ему. Жизнь стала для него адом. Как и всякий дикий зверь, попавший в руки к человеку, он не мог сидеть взаперти. А ему приходилось терпеть неволю.

Зеваки глазели на Белого Клыка, совали палки сквозь решётку; он рычал, а они смеялись над ним. Эти люди будили в нём такую ярость, какой не предполагала наделить его и сама природа. Однако природа дала ему способность приспособляться. Там, где другое животное погибло бы или смирилось, Белый Клык применялся к обстоятельствам и продолжал жить, не ломая своего упорства. Возможно, что дьяволу в образе Красавчика Смита в конце концов и удалось бы сломить Белого Клыка, но пока что все его старания были тщетны.

Если в Красавчике Смите сидел дьявол, то и Белый Клык не уступал ему в этом, и оба дьявола вели нескончаемую войну друг против друга. Прежде у Белого Клыка хватало благоразумия на то, чтобы покориться человеку, который держит палку в руке; теперь же это благоразумие его оставило. Ему достаточно было увидеть Красавчика Смита, чтобы прийти в бешенство. И когда они сталкивались и палка загоняла Белого Клыка в угол клетки, он и тогда не переставал рычать и скалить зубы. Унять его было невозможно. Красавчик Смит мог бить Белого Клыка как угодно и сколько угодно — тот не сдавался. Лишь только хозяин прекращал избиение и уходил, вслед ему слышался вызывающий рёв или же Белый Клык кидался на прутья клетки и выл от бушевавшей в нём ненависти.

Когда пароход прибыл в Доусон, Белого Клыка свели на берег. Но и в Доусоне он жил по-прежнему на виду у всех, в клетке, постоянно окружённый зеваками. Красавчик Смит выставил напоказ своего «бойцового волка», и люди платили по пятидесяти центов золотым песком, чтобы поглядеть на него. У Белого Клыка не было ни минуты покоя. Если он спал, его будили, поднимали с места палкой. Зрители хотели получить полное удовольствие за свои деньги. А для того, чтобы сделать зрелище ещё более занимательным, Белого Клыка постоянно держали в состоянии бешенства.

Но хуже всего была та атмосфера, в которой он жил. На него смотрели как на страшного, дикого зверя, и это отношение людей проникало к Белому Клыку сквозь прутья клетки. Каждое их слово, каждое движение убеждало его в том, насколько страшна людям его ярость. Это лишь подливало масла в огонь, и свирепость Белого Клыка росла с каждым днём. Вот ещё одно доказательство податливости материала, из которого он был сделан, — доказательство его способности применяться к окружающей среде.

Красавчик Смит не только выставил Белого Клыка напоказ, он сделал из него и профессионального бойца. Когда являлась возможность устроить бой, Белого Клыка выводили из клетки и вели в лес, за несколько миль от города. Обычно это делалось ночью, чтобы избежать столкновения с местной конной полицией. Через несколько часов, на рассвете, появлялись зрители и собака, с которой ему предстояло драться. Белому Клыку приходилось встречать противников всех пород и всех размеров. Он жил в дикой стране, и люди здесь были дикие, а собачьи бои обычно кончались смертью одного из участников.

Но Белый Клык продолжал сражаться, и, следовательно, погибали его противники. Он не знал поражений. Боевая закалка, полученная с детства, когда Белому Клыку приходилось

сражаться с Лип-Липом и со всей стаей молодых собак, сослужила ему хорошую службу. Белого Клыка спасала твёрдость, с которой он держался на ногах. Ни одному противнику не удавалось повалить его. Собаки, в которых ещё сохранилась кровь их далёких предков — волков, пускали в ход свой излюбленный боевой приём: кидались на противника прямо или неожиданным броском сбоку, рассчитывая ударить его в плечо и опрокинуть навзничь. Гончие, лайки, овчарки, ньюфаундленды — все испробовали на Белом Клыке этот приём и ничего не добились. Не было случая, чтобы Белый Клык потерял равновесие. Люди рассказывали об этом друг другу и каждый раз надеялись, что его собьют с ног, но он неизменно разочаровывал их.

Белому Клыку помогала его молниеносная быстрота. Она давала ему громадный перевес над противниками. Даже самые опытные из них ещё не встречали такого увёртливого бойца. Приходилось считаться и с неожиданностью его нападения. Все собаки обычно выполняют перед дракой определённый ритуал — скалят зубы, оцетиниваются, рычат, и все собаки, которым приходилось драться с Белым Клыком, бывали сбиты с ног и прикончены прежде, чем вступали в драку или приходили в себя от неожиданности. Это случалось так часто, что Белого Клыка стали придерживать, чтобы дать его, противнику возможность выполнить положенный ритуал и даже первым броситься в драку.

Но самое большое преимущество в боях давал Белому Клыку его опыт. Белый Клык понимал толк в драках, как ни один его противник. Он дрался чаще их всех, умел отразить любое нападение, а его собственные боевые приёмы были гораздо разнообразнее и вряд ли нуждались в улучшении.

Время шло, и драться приходилось всё реже и реже. Любители собачьих боёв уже потеряли надежду подыскать Белому Клыку достойного соперника, и Красавчику Смиту не оставалось ничего другого, как выставлять его против волков. Индейцы ловили их капканами специально для этой цели, и бой Белого Клыка с волком неизменно привлекал толпы зрителей. Однажды удалось раздобыть где-то взрослую самку-рысь, и на этот раз Белому Клыку пришлось отстаивать в бою свою жизнь. Рысь не уступала ему ни в быстроте движений, ни в ярости и пускала в ход и зубы и острые когти, тогда как Белый Клык действовал только зубами.

Но после схватки с рысью бои прекратились. Белому Клыку уже не с кем было драться — никто не мог выпустить на него достойного противника. И он просидел в клетке до весны, а весной в Доусон приехал некто Тим Кинен, по профессии картёжный игрок. Кинен привёз с собой бульдога — первого бульдога, появившегося на Клондайке. Встреча Белого Клыка с этой собакой была неизбежна, и для некоторых обитателей города предстоящая схватка между ними целую неделю служила главной темой разговоров.

Глава 4

Цепкая смерть

Красавчик Смит снял с него цепь и отступил назад.

И впервые Белый Клык кинулся в бой не сразу. Он стоял как вкопанный, наострив уши, и с любопытством всматривался в странное существо, представшее перед ним. Он никогда не видел такой собаки. Тим Кинен подтолкнул бульдога вперёд и сказал:

— Взять его!

Приземистый, неуклюжий пёс проковылял на середину круга и, моргая глазами, остановился против Белого Клыка.

Из толпы закричали:

— Взять его, Чероки! Всыпь ему как следует! Взять, взять его!

Но Чероки, видимо, не имел ни малейшей охоты драться. Он повернул голову, посмотрел на кричавших людей и добродушно завилял обрубок хвоста. Чероки не боялся Белого Клыка, просто ему было лень начинать драку. Кроме того, он не был уверен, что с собакой, стоявшей перед ним, надо вступать в бой. Чероки не привык встречать таких противников и ждал, когда к нему приведут настоящего бойца.

Тим Кинен вошёл в круг и, нагнувшись над бульдогом, стал поглаживать его против шерсти и легонько подталкивать вперёд. Эти движения должны были подзадорить Чероки. И они не только подзадорили, но и разозлили его. Послышалось низкое, приглушённое рычание. Движения рук человека точно совпадали с рычанием собаки. Когда руки подталкивали Чероки вперёд, он начинал рычать, потом умолкал, но на следующее прикосновение отвечал тем же. Каждое движение рук, поглаживавших Чероки против шерсти, заканчивалось лёгким толчком, и так же, словно толчком, из горла у него вырывалось рычание.

Белый Клык не мог оставаться равнодушным ко всему этому. Шерсть на загривке и на спине поднялась у него дыбом. Тим Кинен подтолкнул Чероки в последний раз и отступил назад. Пробежав по инерции несколько шагов вперёд, бульдог не остановился и, быстро перебирая своими кривыми лапами, выскочил на середину круга. В эту минуту Белый Клык кинулся на него. Зрители восхищённо вскрикнули. Белый Клык с лёгкостью кошки в один прыжок покрыл всё расстояние между собой и противником, с тем же кошачьим проворством рванул его зубами и отскочил в сторону.

На толстой шее бульдога, около самого уха, показалась кровь. Словно не заметив этого, даже не зарывчав, Чероки повернулся и побежал за Белым Клыком. Подвижность Белого Клыка и упорство Чероки разожгли страсти толпы. Зрители заключали новые пари, увеличивали ставки. Белый Клык прыгнул на бульдога ещё и ещё раз, рванул его зубами и отскочил в сторону невредимым, а этот необычный противник продолжал спокойно и как бы деловито бегать за ним, не торопясь, но и не замедляя хода. В поведении Чероки чувствовалась какая-то определённая цель, от которой его ничто не могло отвлечь.

Все его движения, все повадки были проникнуты этой целью. Он сбивал Белого Клыка с толку. Никогда в жизни не встречалась ему такая собака. Шерсть у неё была совсем короткая, кровь показывалась на её мягком теле от малейшей царапины. И где пушистый мех, который так мешает в драках? Зубы Белого Клыка без всякого труда впивались в податливое тело бульдога, который, судя по всему, совсем не умел защищаться. И почему он не визжит, не лает, как делают все собаки в таких случаях? Если не считать глухого рычания, бульдог терпел укусы молча и ни на минуту не прекращал погони за противником.

Чероки нельзя было упрекнуть в неповоротливости. Он вертелся и сновал из стороны в

сторону, но Белый Клык всё-таки ускользал от него. Чероки тоже был сбит с толку. Ему ещё ни разу не приходилось драться с собакой, которая не подпускала бы его к себе. Желание сцепиться друг с другом до сих пор всегда было обоюдным. Но эта собака всё время держалась на расстоянии, прыгала взад и вперёд и увёртывалась от него. И, даже рванув Чероки зубами, она сейчас же разжимала челюсти и отскакивала прочь.

А Белый Клык никак не мог добраться до горла своего противника. Бульдог был слишком мал ростом; кроме того, выдающаяся вперёд челюсть служила ему хорошей защитой. Белый Клык бросался на него и отскакивал в сторону, ухитряясь не получить ни одной царапины, а количество ран на теле Чероки всё росло и росло. Голова и шея у него были расплосованы с обеих сторон, из ран хлестала кровь, но Чероки не проявлял ни малейших признаков беспокойства. Он всё так же упорно, так же добросовестно гонялся за Белым Клыком и за всё это время остановился всего лишь раз, чтобы недоуменно посмотреть на людей и помахать обрубок хвоста в знак своей готовности продолжать драку.

В эту минуту Белый Клык налетел на Чероки и, рванув его за ухо, и без того изодранное в ключья, отскочил в сторону. Начиная сердиться, Чероки снова пустился в погоню, бегая внутри круга, который описывал Белый Клык, и стараясь вцепиться мёртвой хваткой ему в горло. Бульдог промахнулся на самую малость, и Белый Клык, вызвав громкое одобрение толпы, спас себя только тем, что сделал неожиданный прыжок в противоположную сторону.

Время шло. Белый Клык плясал и вертелся около Чероки, то и дело кусая его и сейчас же отскакивая прочь. А бульдог с мрачной настойчивостью продолжал бегать за ним. Рано или поздно, а он добьётся своего и, схватив Белого Клыка за горло, решит исход боя. Пока же ему не оставалось ничего другого, как терпеливо переносить все нападения противника. Его короткие уши повисли бахромой, шея и плечи покрылись множеством ран, и даже губы у него были разодраны и залиты кровью, — и всё это наделали молниеносные укусы Белого Клыка, которых нельзя было ни предвидеть, ни избежать.

Много раз Белый Клык пытался сбить Чероки с ног, но разница в росте была слишком велика между ними. Чероки был коренастый, приземистый. И на этот раз счастье изменило Белому Клыку. Прыгая и вертясь юлой около Чероки, он улучил минуту, когда противник, не успев сделать крутой поворот, отвёл голову в сторону и оставил плечо незащищённым. Белый Клык кинулся вперёд, но его собственное плечо пришлось гораздо выше плеча противника, он не смог удержаться и со всего размаху перелетел через его спину. И впервые за всю боевую карьеру Белого Клыка люди стали свидетелями того, как «бойцовый волк» не сумел устоять на ногах. Он извернулся в воздухе, как кошка, и только это помешало ему упасть навзничь. Он грохнулся на бок и в следующее же мгновение опять стоял на ногах, но зубы Чероки же впились ему в горло.

Хватка была не совсем удачная, она пришлась слишком низко, ближе к груди, но Чероки не разжимал челюстей. Белый Клык заметался из стороны в сторону, пытаясь стряхнуть с себя бульдога. Эта волочащаяся за ним тяжесть доводила его до бешенства. Она связывала его движения, лишала его свободы, как будто он попал в капкан. Его инстинкт восставал против этого. Он не помнил себя. Жажда жизни овладела им. Его тело властно требовало свободы. Мозг, разум не участвовали в этой борьбе, отступив перед слепой тягой к жизни, к движению — прежде всего к движению, ибо в нём и проявляется жизнь.

Не останавливаясь ни на секунду, Белый Клык кружился, прыгал вперёд, назад, силясь стряхнуть пятидесятифунтовый груз, повисший у него на шее. А бульдогу было важно только одно: не разжимать челюстей. Изредка, когда ему удавалось на одно мгновение коснуться лапами земли, он пытался сопротивляться Белому Клыку и тут же описывал круг в воздухе, повинаясь каждому движению обезумевшего противника. Чероки поступал так, как велел ему

инстинкт. Он знал, что поступает правильно, что разжимать челюсти нельзя, и по временам вздрагивал от удовольствия. В такие минуты он даже закрывал глаза и, не считаясь с болью, позволял Белому Клыку крутить себя то вправо, то влево. Всё это не имело значения. Сейчас Чероки важно было одно: не разжимать зубов, и он не разжимал их.

Белый Клык перестал метаться, только окончательно выбившись из сил. Он уже ничего не мог сделать, ничего не мог понять. Ни разу за всю его жизнь ему не приходилось испытывать ничего подобного. Собаки, с которыми он дрался раньше, вели себя совершенно по-другому. С ними надо было действовать так: вцепился, рванул зубами, отскочил, вцепился, рванул зубами, отскочил. Тяжело дыша, Белый Клык полулежал на земле. Не разжимая зубов, Чероки налегал на него всем телом, пытаясь повалить навзничь. Белый Клык сопротивлялся и чувствовал, как челюсти бульдога, словно жуя его шкуру, передвигаются всё выше и выше. С каждой минутой они приближались к горлу. Бульдог действовал расчётливо: стараясь не упустить захваченного, он пользовался малейшей возможностью захватить больше. Такая возможность предоставлялась ему, когда Белый Клык лежал спокойно, но лишь только тот начинал рваться, бульдог сразу сжимал челюсти.

Белый Клык мог дотянуться только до загривка Чероки. Он запустил ему зубы повыше плеча, но перебирать ими, как бы жуя шкуру, не смог — этот способ был не знаком ему, да и челюсти его не были приспособлены для такой хватки. Он судорожно рвал Чероки зубами и вдруг почувствовал, что положение их изменилось. Чероки опрокинул его на спину и, всё ещё не разжимая челюстей, ухитрился встать над ним. Белый Клык согнул задние ноги и, как кошка, начал рвать когтями своего врага. Чероки рисковал остаться с распоротым брюхом и спасся только тем, что прыгнул в сторону, под прямым углом к Белому Клыку.

Высвободиться из его хватки было немыслимо. Она сковывала с неумолимостью судьбы. Зубы Чероки медленно передвигались вверх, вдоль вены. Белого Клыка оберегали от смерти только широкие складки кожи и густой мех на шее. Чероки забил себе всю пасть его шкурой, но это не мешало ему пользоваться малейшей возможностью, чтобы захватить её ещё больше. Он душил Белого Клыка, и дышать тому с каждой минутой становилось всё труднее и труднее.

Борьба, по-видимому, приближалась к концу. Те, кто ставил на Чероки, были вне себя от восторга и предлагали чудовищные пари. Сторонники Белого Клыка приуныли и отказывались поставить десять против одного и двадцать против одного. Но нашёлся один человек, который рискнул принять пари в пятьдесят против одного. Это был Красавчик Смит. Он вошёл в круг и, показав на Белого Клыка пальцем, стал презрительно смеяться над ним. Это возымело своё действие. Белый Клык обезумел от ярости. Он собрал последние силы и поднялся на ноги. Но стоило ему заметаться по кругу с пятидесятифунтовым грузом, повисшим у него на шее, как эта ярость уступила место ужасу. Жажда жизни снова овладела им, и разум в нём погас, подчиняясь велениям тела. Он бегал по кругу, спотыкаясь, падая и снова поднимаясь, взвизывая на дыбы, скидывая своего врага вверх, и всё-таки все его попытки стряхнуть с себя цепкую смерть были тщетны.

Наконец Белый Клык опрокинулся навзничь, и бульдог сразу же перехватил зубами ещё выше и, забирая его шкуру пастью, почти не давал ему перевести дух. Гром аплодисментов приветствовал победителя, из толпы кричали: «Чероки! Чероки!» Бульдог рьяно завилал обрубок хвоста. Но аплодисменты не помешали ему. Хвост и массивные челюсти действовали совершенно независимо друг от друга. Хвост ходил из стороны в сторону, а челюсти всё сильнее и сильнее сдавливали Белому Клыку горло.

И тут зрители отвлеклись от этой забавы. Вдали послышались крики погонщиков собак, звон колокольчиков. Все, кроме Красавчика Смита, насторожились, решив, что нагрянула полиция. Но на дороге вскоре показались двое мужчин, бежавших рядом с нартами. Они

направлялись не из города, а в город, возвращаясь, по всей вероятности, из какой-нибудь разведочной экспедиции. Увидев собравшуюся толпу, незнакомцы остановили собак и подошли узнать, что тут происходит.

Один из них был высокий молодой человек; его гладко выбритое лицо покраснело от быстрого движения на морозе. Другой, погонщик, был ниже ростом и с усами.

Белый Клык прекратил борьбу. Время от времени он начинал судорожно биться, но теперь всякое сопротивление было бесцельно. Безжалостные челюсти бульдога всё сильнее сдавливали ему горло, воздуху не хватало, дыхание его становилось всё прерывистее. Чероки давно прокусил бы ему вену, если бы его зубы с самого начала не пришлось так близко к груди. Он перехватывал ими всё выше, подбираясь к горлу, но на это уходило много времени, к тому же пасть его была вся забита толстыми складками шкуры Белого Клыка.

Тем временем зверская жестокость Красавчика Смита вытеснила в нём последние остатки разума. Увидев, что глаза Белого Клыка уже заволакивает пеленой, он понял, что бой проигран. Словно сорвавшись с цепи, он бросился к Белому Клыку и начал яростно бить его ногами. Зрители закричали, послышался свист, но тем дело и ограничилось. Не обращая внимания на эти протесты, Красавчик Смит продолжал бить Белого Клыка. Но вдруг в толпе произошло какое-то движение: высокий молодой человек пробирался вперёд, бесцеремонно расталкивая всех направо и налево. Он вошёл в круг как раз в ту минуту, когда Красавчик Смит заносил правую ногу для очередного удара; перенеся всю тяжесть на левую, он находился в состоянии неустойчивого равновесия. В это мгновение молодой человек с сокрушительной силой ударил его кулаком по лицу. Красавчик Смит не удержался и, подскочив в воздухе, рухнул на снег.

Молодой человек повернулся к толпе.

— Трусы! — закричал он. — Мерзавцы!

Он не помнил себя от гнева, того гнева, которым загорается только здравомыслящий человек. Его серые глаза сверкали стальным блеском. Красавчик Смит встал и боязливо двинулся к нему. Незнакомец не понял его намерения. Не подозревая, что перед ним отчаянный трус, он решил, что Красавчик Смит хочет драться, и, крикнув: «Мерзавец!», вторично опрокинул его навзничь. Красавчик Смит сообразил, что лежать на снегу безопаснее, и уже не делал больше попыток подняться на ноги.

— Мэтт, помогите-ка мне! — сказал незнакомец погонщику, который вместе с ним вошёл в круг.

Оба они нагнулись над собаками. Мэтт приготовился оттащить Белого Клыка в сторону, как только Чероки ослабит свою мёртвую хватку. Молодой человек стал разжимать зубы бульдогу. Но все его усилия были напрасны. Стараясь разомкнуть ему челюсти, он не переставал повторять вполголоса: «Мерзавцы!»

Зрители заволновались, и кое-кто уже начинал протестовать против такого непрошеного вмешательства. Но стоило незнакомцу поднять голову и посмотреть на толпу, как протестующие голоса смолкли.

— Мерзавцы вы этакие! — крикнул он снова и принялся за дело.

— Нечего и стараться, мистер Скотт. Так мы их никогда не растащим, — сказал наконец Мэтт.

Они выпрямились и осмотрели сцепившихся собак.

— Крови вышло немного, — сказал Мэтт, — до горла ещё не успел добраться.

— Того и гляди доберётся, — ответил Скотт. — Видали? Ещё выше перехватил.

Волнение молодого человека и его страх за участь Белого Клыка росли с каждой минутой. Он ударил Чероки по голове — раз, другой. Но это не помогло. Чероки завилял обрубок хвоста в знак того, что, прекрасно понимая смысл этих ударов, он всё же исполнит свой долг до конца

и не разожмёт челюстей.

— Помогите кто-нибудь! — крикнул Скотт, в отчаянии обращаясь к толпе.

Но ни один человек не двинулся с места. Зрители начинали подтрунивать над ним и засыпали его целым градом язвительных советов.

— Всуньте ему что-нибудь в пасть, — посоветовал Мэтт.

Скотт схватился за кобуру, висевшую у него на поясе, вынул револьвер и попробовал просунуть дуло между сжатыми челюстями бульдога. Он старался изо всех сил, слышно было, как сталь скрипит о стиснутые зубы Чероки. Они с погонщиком стояли на коленях, нагнувшись над собаками.

Тим Кинен шагнул в круг. Подойдя к Скотту, он тронул его за плечо и проговорил угрожающим тоном:

— Не сломайте ему зубов, незнакомец.

— Не зубы, так шею сломаю, — ответил Скотт, продолжая всовывать револьверное дуло в пасть Чероки.

— Говорю вам, не сломайте зубов! — ещё настойчивее повторил Тим Кинем.

Но если он рассчитывал запугать Скотта, это ему не удалось.

Продолжая орудовать револьвером, Скотт поднял голову и хладнокровно спросил:

— Ваша собака?

Тим Кинен буркнул что-то себе под нос.

— Тогда разожмите ей зубы.

— Вот что, друг любезный, — со злобой заговорил Тим, — это не так просто, как вам кажется. Я не знаю, что тут делать.

— Тогда убирайтесь, — последовал ответ, — и не мешайте мне. Видите, я занят.

Тим Кинен не уходил, но Скотт уже не обращал на него никакого внимания. Он кое-как втиснул бульдогу дуло между зубами и теперь старался просунуть его дальше, чтобы оно вышло с другой стороны.

Добившись этого, Скотт начал осторожно, потихоньку разжимать бульдогу челюсти, а Мэтт тем временем освобождал из его пасти складки шкуры Белого Клыка.

— Держите свою собаку! — скомандовал Скотт Тиму.

Хозяин Чероки послушно нагнулся и обеими руками схватил бульдога.

— Ну! — крикнул Скотт, сделав последнее усилие. Собак растащили в разные стороны. Бульдог отчаянно сопротивлялся.

— Уведите его, — приказал Скотт, и Тим Кинен увёл Чероки в толпу.

Белый Клык попытался встать — раз, другой. Но ослабевшие ноги подогнулись под ним, и он медленно повалился на снег. Его полузакрытые глаза потускнели, нижняя челюсть отвисла, язык вывалился наружу... Задушенная собака. Мэтт осмотрел его.

— Чуть жив, — сказал он, — но дышит всё-таки. Красавчик Смит встал и подошёл взглянуть на Белого Клыка.

— Мэтт, сколько стоит хорошая ездовая собака? — спросил Скотт.

Погонщик подумал с минуту и ответил, не поднимаясь с колен:

— Триста долларов.

— Ну, а такая, на которой живого места не осталось? — И Скотт ткнул Белого Клыка ногой.

— Половину, — решил погонщик. Скотт повернулся к Красавчику Смигу.

— Слышали вы, зверь? Я беру у вас собаку и плачу за неё полтораста долларов.

Он открыл бумажник и отсчитал эту сумму. Красавчик Смит заложил руки за спину отказываясь взять протянутые ему деньги.

— Не продаю, — сказал он.

— Нет, продаёте, — заявил Скотт, — потому что я покупаю. Получите деньги. Собака моя. Всё ещё держа руки за спиной, Красавчик Смит попятился назад. Скотт шагнул к нему и замахнулся кулаком.

Красавчик Смит втянул голову в плечи.

— Собака моя... — начал было он.

— Вы потеряли все права на эту собаку, — перебил его Скотт. — Возьмёте деньги или мне ударить вас ещё раз?

— Хорошо, хорошо, — испуганно забормотал Красавчик Смит. — Но вы меня принуждаете. Этой собаке цены нет. Я не позволю себя грабить. У каждого человека есть свои права.

— Верно, — ответил Скотт, передавая ему деньги. — У всякого человека есть свои права. Но вы не человек, а зверь.

— Дайте мне только вернуться в Доусон, — пригрозил ему Красавчик Смит, — там я найду на вас управу.

— Посмейте только рот открыть, я вас живо из Доусона выпровожу! Поняли?

Красавчик Смит пробормотал что-то невнятное.

— Поняли? — крикнул Скотт, рассвирепев.

— Да, — буркнул Красавчик Смит, попятившись от него.

— Как?

— Да, сэр, — рявкнул Красавчик Смит.

— Осторожнее! Он кусается! — крикнул кто-то, и в толпе захохотали.

Скотт повернулся к Красавчику Смицу спиной и подошёл к погонщику, который всё ещё возился с Белым Клыком.

Кое-кто из зрителей уже уходил, другие собирались кучками, поглядывая на Скотта и переговариваясь между собой.

К одной из этих групп подошёл Тим Кинен.

— Что это за птица? — спросил он.

— Уидон Скотт, — ответил кто-то.

— Какой такой Уидон Скотт?

— Да инженер с приисков. Он среди здешних заправил свой человек. Если не хочешь нажить неприятностей, держись от него подальше. Ему сам начальник приисков друг-приятель.

— Я сразу понял, что это важная персона, — сказал Тим Кинен. — Нет, думаю, с таким лучше не связываться.

Глава 5

Неукротимый

— Нет! Ничего тут не поделаешь! — безнадежным тоном сказал Уидон Скотт.

Он опустился на ступеньку и посмотрел на погонщика, который так же безнадежно пожал плечами.

Оба перевели взгляд на Белого Клыка. Весь оцетинившись и злобно рыча, он рвался с цепи, стараясь добраться до собак, выпряженных из нарт. Собаки же, получив изрядное количество наставлений от Мэтта — наставлений, подкреплённых палкой, понимали, что с Белым Клыком лучше не связываться.

Сейчас они лежали в сторонке и, казалось, совершенно забыли о его существовании.

— Да-а, он волк, а волка не приручишь, — сказал Уидон Скотт.

— Кто его знает? — возразил Мэтт. — Может, в нём от собаки больше, чем от волка. Но в чём я уверен, с того меня уж не собьёшь.

Погонщик замолчал и с таинственным видом кивнул в сторону Лосиной горы.

— Ну, не заставляйте себя просить, — резко проговорил Скотт, так и не дождавшись продолжения, — выкладывайте, в чём дело.

Погонщик ткнул большим пальцем через плечо, показывая на Белого Клыка.

— Волк он или собака — это не важно, а только его пробовали приручить.

— Быть того не может!

— Я вам говорю — пробовали. Он и в упряжке ходил. Вы посмотрите поближе. У него стёртые места на груди.

— Правильно, Мэтт! До того как попасть к Красавчику Смиту, он ходил в упряжке.

— А почему бы ему не походить в упряжке и у нас?

— А в самом деле! — воскликнул Скотт.

Но появившаяся было надежда сейчас же угасла, и он сказал, покачивая головой:

— Мы его держим уже две недели, а он, кажется, ещё злее стал.

— Давайте спустим его с цепи — посмотрим, что получится, — предложил Мэтт.

Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Да, да! — продолжал Мэтт. — Я знаю, что вы это уже пробовали, так попробуйте ещё раз, только не забудьте взять палку.

— Хорошо, но теперь я поручу это вам.

Погонщик вооружился палкой и подошёл к сидевшему на привязи Белому Клыку. Тот следил за палкой, как лев следит за бичом укротителя.

— Смотрите, как на палку уставился, — сказал Мэтт. — Это хороший признак. Значит, пёс не так уж глуп. Не посмеет броситься на меня, пока я с палкой. Не бешеный же он в конце концов.

Как только рука человека приблизилась к шее Белого Клыка, он оцетинился и с рычанием припал к земле. Не спуская глаз с руки Мэтта, он в то же время следил за палкой, занесённой над его головой. Мэтт быстро отстегнул цепь с ошейника и шагнул назад.

Белому Клыку не верилось, что он очутился на свободе. Многие месяцы прошли с тех пор, как им завладел Красавчик Смит, и за всё это время его спускали с цепи только для драк с собаками, а потом опять сажали на привязь.

Что ему было делать со своей свободой? А вдруг боги снова замыслили какую-нибудь дьявольскую шутку?

Белый Клык сделал несколько медленных, осторожных шагов, каждую минуту ожидая

нападения. Он не знал, как вести себя, настолько непривычна была эта свобода. На всякий случай лучше держаться подальше от наблюдающих за ним богов и отойти за угол хижины. Так он и сделал, и всё обошлось благополучно.

Озадаченный этим, Белый Клык вернулся обратно и, остановившись футах в десяти от людей, настороженно уставился на них.

— А не убежит? — спросил новый хозяин. Мэтт пожал плечами.

— Рискнём! Риск — благородное дело.

— Бедняга! Больше всего он нуждается в человеческой ласке, — с жалостью пробормотал Скотт и вошёл в хижину. Он вынес оттуда кусок мяса и швырнул его Белому Клыку. Тот отскочил в сторону и стал недоверчиво разглядывать кусок издали.

— Назад, Майор! — крикнул Мэтт, но было уже поздно.

Майор кинулся к мясу, и в ту минуту, когда кусок уже был у него в зубах, Белый Клык налетел и сбил его с ног. Мэтт бросился к ним, но Белый Клык сделал своё дело быстро. Майор с трудом привстал, и кровь, хлынувшая у него из горла, красной лужей расплзлась по снегу.

— Жалко Майора, но поделом ему, — поспешно сказал Скотт.

Но Мэтт уже занёс ногу, чтобы ударить Белого Клыка. Быстро один за другим последовали прыжок, ляг зубов и громкий крик боли.

Свирепо рыча, Белый Клык отполз назад, а Мэтт нагнулся и стал осматривать свою прокушенную ногу.

— Цапнул всё-таки, — сказал он, показывая на разорванную штанину и нижнее бельё, на котором расплывался кровавый круг.

— Я же говорил вам, что это безнадёжно, — упавшим голосом проговорил Скотт. — Я об этой собаке много думал, не выходит она у меня из головы. Ну что ж, ничего другого не остаётся.

С этими словами он нехотя вынул из кармана револьвер и, осмотрев барабан, убедился, что пули в нём есть.

— Послушайте, мистер Скотт, — взмолился Мэтт, — чего только этой собаке не пришлось испытать! Нельзя же требовать, чтобы она сразу превратилась в ангелочка. Дайте ей срок.

— Полюбуйтесь на Майора, — ответил Скотт. Погонщик взглянул на искалеченную собаку. Она валялась на снегу в луже крови и была, по-видимому, при последнем издыхании.

— Поделом ему. Вы же сами так сказали, мистер Скотт. Позарился на чужой кусок — значит, спета его песенка. Этого следовало ожидать. Я и гроша ломаного не дам за собаку, которая отдаст свой корм без боя.

— Ну, а вы сами, Мэтт? Собаки собаками, но всему должна быть мера.

— И мне поделом, — не сдавался Мэтт. — За что, спрашивается, я его ударил? Вы же сами сказали, что он прав. Значит, не за что было его бить.

— Мы сделаем доброе дело, застрелив эту собаку, — настаивал Скотт. — Нам её не приручить!

— Послушайте, мистер Скотт. Дадим ему, бедняге, показать себя. Ведь он чёрт знает что вытерпел, прежде чем попасть к нам. Давайте попробуем. А если он не оправдает нашего доверия, я его сам застрелю.

— Да мне вовсе не хочется его убивать, — ответил Скотт, пряча револьвер. — Пусть побегает на свободе, и посмотрим, чего от него можно добиться добром. Вот я сейчас попробую.

Он подошёл к Белому Клыку и заговорил с ним мягким, успокаивающим голосом.

— Возьмите палку на всякий случай! — предостерег его Мэтт.

Скотт отрицательно покачал головой и продолжал говорить, стараясь завоевать доверие Белого Клыка.

Белый Клык насторожился. Ему грозила опасность. Он загрыз собаку этого бога, укусил его товарища. Чего же теперь ждать, кроме сурового наказания? И всё-таки он не смирился. Шерсть на нём встала дыбом, всё тело напряглось, он оскалил зубы и зорко следил за человеком, приготовившись ко всякой неожиданности. В руках у Скопа не было палки, и Белый Клык подпустил его к себе совсем близко. Рука бога стала опускаться над его головой. Белый Клык съёжился и припал к земле. Вот где таится опасность и предательство! Руки богов с их непререкаемой властью и коварством были ему хорошо известны. Кроме того, он по-прежнему не выносил прикосновения к своему телу. Он зарычал ещё злее и пригнулся к земле ещё ниже, а рука всё продолжала опускаться. Он не хотел кусать эту руку и терпеливо переносил опасность, которой она грозила, до тех пор, пока мог бороться с инстинктом — с ненасытной жаждой жизни.

Уидон Скотт был уверен, что всегда успеет вовремя отдернуть руку. Но тут ему довелось испытать на себе, как Белый Клык умеет разить с меткостью и стремительностью змеи, развернувшей свои кольца.

Скотт вскрикнул от неожиданности и схватил прокушенную правую руку левой рукой. Мэтт громко выругался и подскочил к нему. Белый Клык отполз назад, весь оцетинившись, скаля зубы и угрожающе поглядывая на людей. Теперь уж, наверное, его ждут побои, не менее страшные, чем те, которые приходилось выносить от Красавчика Смита.

— Что вы делаете? — вдруг крикнул Скотт. А Мэтт уже успел сбегать в хижину и появился на пороге с ружьём в руках.

— Ничего особенного, — медленно, с напускным спокойствием проговорил он. — Хочу сдержать своё обещание. Сказал, что застрелю собаку, значит, застрелю.

— Нет, не застрелите.

— Нет, застрелю! Вот смотрите.

Теперь настала очередь Уидона Скотта вступить за Белого Клыка, как вступился за него несколько минут назад укушенный Мэтт.

— Вы сами предлагали испытать его, так испытайте! Мы же только начали, нельзя сразу бросать дело. Я сам виноват. И... посмотрите-ка на него!

Глядя на них из-за угла хижины, Белый Клык рычал с такой яростью, что кровь стыла в жилах, но ярость его вызывал не Скотт, а погонщик.

— Ну что ты скажешь! — воскликнул Мэтт.

— Видите, какой он понятливый! — торопливо продолжал Скотт. — Он не хуже нас с вами знает, что такое огнестрельное оружие. С такой умной собакой стоит повозиться. Оставьте ружьё.

— Ладно. Давайте попробуем. — И Мэтт прислонил ружьё к шпателью дров. — Да нет! Вы только полюбуйтесь на него! — воскликнул он в ту же минуту.

Белый Клык успокоился и перестал ворчать.

— Попробуйте ещё раз. Следите за ним.

Мэтт взял ружьё — и Белый Клык снова зарычал. Мэтт отошёл от ружья — Белый Клык спрятал зубы.

— Ну, ещё раз. Это просто интересно!

Мэтт взял ружьё и стал медленно поднимать его к плечу. Белый Клык сразу же зарычал, и рычание его становилось всё громче и громче по мере того, как ружьё поднималось кверху. Но не успел Мэтт навести на него дуло, как он отпрыгнул в сторону и скрылся за углом хижины. На прицеле у Мэтта был белый снег, а место, где только что стояла собака, опустело.

Погонщик медленно отставил ружьё, повернулся и посмотрел на своего хозяина.

— Правильно, мистер Скотт. Пёс слишком умён. Жалко его убивать.

Глава 6

Новая наука

Увидев приближающегося Уидона Скотта, Белый Клык ощерился и зарычал, давая этим понять, что не потерпит расправы над собой. С тех пор как он прокусил Скотту руку, которая была теперь забинтована и висела на перевязи, прошли сутки. Белый Клык помнил, что боги иногда откладывают наказание, и сейчас ждал расплаты за свой проступок. Иначе не могло и быть. Он совершил святотатство: впился зубами в священное тело бога, притом белокожего бога. По опыту, который остался у него от общения с богами, Белый Клык знал, какое суровое наказание грозит ему.

Бог сел в нескольких шагах от него. В этом ещё не было ничего страшного — обычно они наказывают стоя. Кроме того, у этого бога не было ни палки, ни хлыста, ни ружья, да и сам Белый Клык находился на свободе. Ничто его не удерживало — ни цепь, ни ремень с палкой, и он мог спастись бегством прежде, чем бог успеет встать на ноги. А пока что надо подождать и посмотреть, что будет дальше.

Бог сидел совершенно спокойно, не делая попыток встать с места, и злобный рёв Белого Клыка постепенно перешёл в глухое ворчание, а потом и ворчание смолкло. Тогда бог заговорил, и при первых же звуках его голоса шерсть на загривке у Белого Клыка поднялась дыбом, в горле снова заклокотало. Но бог продолжал говорить всё так же спокойно, не делая никаких резких движений. Белый Клык рычал в унисон с его голосом, и между словами и рычанием установился согласный ритм. Но речь человека лилась без конца. Он говорил так, как ещё никто никогда не говорил с Белым Клыком. В мягких, успокаивающих словах слышалась нежность, и эта нежность находила какой-то отклик в Белом Клыке. Невольно, вопреки всем предостережениям инстинкта, он почувствовал доверие к своему новому богу. В нём родилась уверенность в собственной безопасности — в том, в чём ему столько раз приходилось разубеждаться при общении с людьми.

Бог говорил долго, а потом встал и ушёл. Когда же он снова появился на пороге хижины, Белый Клык подозрительно осмотрел его. В руках у него не было ни хлыста, ни палки, ни оружия. И здоровая рука его не пряталась за спину. Он сел на то же самое место в нескольких шагах от Белого Клыка и протянул ему мясо. Навострив уши, Белый Клык недоверчиво оглядел кусок, ухитряясь смотреть одновременно и на него и на бога, и приготовился отскочить в сторону при первом же намёке на опасность.

Но наказание всё ещё откладывалось. Бог протягивал ему еду — только и всего. Мясо как мясо, ничего страшного в нём не было. Но Белый Клык всё ещё сомневался и не взял протянутого куска, хотя рука бога подвигалась всё ближе и ближе к его носу. Боги мудры — кто знает, какое коварство таится в этой безобидной с виду подачке? По своему прошлому опыту, особенно когда приходилось иметь дело с женщинами, Белый Клык знал, что мясо и наказание сплошь и рядом имели между собой тесную и неприятную связь.

В конце концов бог бросил мясо на снег, к ногам Белого Клыка. Тот тщательно обнюхал подачку, не глядя на неё, — глаза его были устремлены на бога. Ничего плохого не произошло. Тогда он взял кусок в зубы и проглотил его. Но и тут всё обошлось благополучно. Бог предлагал ему другой кусок. И во второй раз Белый Клык отказался принять его из рук, и бог снова бросил мясо на снег. Так повторилось несколько раз. Но наступило время, когда бог отказался бросить мясо. Он держал кусок и настойчиво предлагал Белому Клыку взять подачку у него из рук.

Мясо было вкусное, а Белый Клык проголодался. Мало-помалу, с бесконечной осторожностью, он подошёл ближе и наконец решился взять кусок из человеческих рук. Не

спускающая глаз с бога, Белый Клык вытянул шею и прижал уши, шерсть у него на загривке встала дыбом, в горле клокотало глухое рычание, как бы предостерегающее человека, что шутки сейчас неуместны. Белый Клык съел кусок, и ничего с ним не случилось. И так мало-помалу он съел всё мясо, и всё-таки с ним ничего не случилось. Значит, наказание откладывалось.

Белый Клык облизнулся и стал ждать, что будет дальше. Бог продолжал говорить. В голосе его слышалась ласка — то, о чём Белый Клык не имел до сих пор никакого понятия. И ласка эта будила в нём неведомые до сих пор ощущения. Он почувствовал странное спокойствие, словно удовлетворялась какая-то его потребность, заполнялась какая-то пустота в его существе. Потом в нём снова проснулся инстинкт, и прошлый опыт снова послал ему предостережение. Боги хитры: трудно угадать, какой путь они выберут, чтобы добиться своих целей.

Так и есть! Коварная рука тянется всё дальше и дальше и опускается над его головой. Но бог продолжает говорить. Голос его звучит мягко и успокаивающе. Несмотря на угрозу, которую таит в себе рука, голос внушает доверие. И, несмотря на всю мягкость голоса, рука внушает страх. Противоположные чувства и ощущения боролись в Белом Клыке. Казалось, он упадёт замертво, раздираемый на части враждебными силами, ни одна из которых не получала перевеса в этой борьбе только потому, что он прилагал невероятные усилия, чтобы обуздать их.

И Белый Клык пошёл на сделку с самим собой: он рычал, прижимал уши, но не делал попыток ни укунить Скотта, ни убежать от него. Рука опускалась. Расстояние между ней и головой Белого Клыка становилось всё меньше и меньше. Вот она коснулась вставшей дыбом шерсти. Белый Клык припал к земле. Рука последовала за ним, прижимаясь плотнее и плотнее. Съевшись, чуть ли не дрожа, он всё ещё сдерживал себя. Он испытывал муку от прикосновения этой руки, насилующей его инстинкты. Он не мог забыть в один день всё то зло, которое причинили ему человеческие руки. Но такова была воля бога, и он делал всё возможное, чтобы заставить себя подчиниться ей.

Рука поднялась и снова опустилась, лаская и глядя его. Так повторилось несколько раз, но стоило только руке подняться, как поднималась и шерсть на спине у Белого Клыка. И каждый раз, как рука опускалась, уши его прижимались к голове и в горле начинало клокотать рычание. Белый Клык рычал, предупреждая бога, что готов отомстить за боль, которую ему причинят. Кто знает, когда наконец обнаружатся истинные намерения бога! В любую минуту его мягкий, внушающий такое доверие голос может перейти в гневный крик, а эти нежные, ласкающие пальцы сожмутся, как тиски, и лишат Белого Клыка всякой возможности сопротивляться наказанию.

Но слова бога были по-прежнему ласковы, а рука его всё так же поднималась и снова касалась Белого Клыка, и в этих прикосновениях не было ничего враждебного. Белый Клык испытывал двойственное чувство. Инстинкт восставал против такого обращения, оно стесняло его, шло наперекор его стремлению к свободе. И всё-таки физической боли он не испытывал. Наоборот, эти прикосновения были даже приятны. Мало-помалу рука бога передвинулась к его ушам и стала осторожно почёсывать их; приятное ощущение как будто даже усилилось. Но страх не оставлял Белого Клыка; он всё так же настораживался, ожидая чего-то недоброго и испытывая попеременно то страдание, то удовольствие, в зависимости от того, какое из этих чувств одерживало в нём верх.

— Ах, чёрт возьми!

Эти слова вырвались у Мэтта. Он вышел из хижины с засученными рукавами, неся в руках таз с грязной водой, и только хотел выплеснуть её на снег, как вдруг увидел, что Уидон Скотт ласкает Белого Клыка.

При первых же звуках его голоса Белый Клык отскочил назад и свирепо зарычал.

Мэтт посмотрел на своего хозяина, неодобрительно и сокрушённо покачав головой.

— Вы меня извините, мистер Скотт, но, ей-богу, в вас сидят по крайней мере семнадцать дураков, и каждый орудует на свой лад.

Уидон Скотт улыбнулся с видом превосходства, встал и нагнулся над Белым Клыкком. Он ласково заговорил с ним, потом медленно протянул руку и снова начал гладить его по голове. Белый Клык терпеливо сносил это поглаживание, но смотрел он — смотрел во все глаза — не на того, кто его ласкал, а на Мэтта, стоявшего в дверях хижины.

— Может быть, из вас и получился первоклассный инженер, мистер Скотт, — разглагольствовал погонщик, — но, я считаю, вы многое утратили в жизни: вам бы следовало в детстве удрать из дому и поступить в цирк.

Белый Клык зарычал, услышав голос Мэтта, но на этот раз уже не отскочил от руки, ласково гладившей его по голове и по шее.

И это было началом конца прежней жизни, конца прежнего царства ненависти. Для Белого Клыка началась новая, непостижимо прекрасная жизнь. В этом деле от Уидона Скотта требовалось много терпения и ума. А Белый Клык должен был преодолеть веления инстинкта, пойти наперекор собственному опыту, отказаться от всего, чему научила его жизнь.

Прошрое не только не вмещало всего нового, что ему пришлось узнать теперь, но Опровергало это новое. Короче говоря, от Белого Клыка требовалось неизмеримо большее умение разбираться в окружающей обстановке, чем то, с которым он пришёл из Северной глуши и добровольно подчинился власти Серого Бобра. В то время он был всего-навсего щенком, ещё не сложившимся, готовым принять любую форму под руками жизни. Но теперь всё шло по-иному. Прошлая жизнь обработала Белого Клыка слишком усердно; она ожесточила его, превратила в свирепого, неукротимого бойцового волка, который никого не любил и не пользовался ничьей любовью. Переродиться — значило для него пройти через полный внутренний переворот, отбросить все прежние навыки, — и это требовалось от него теперь, когда молодость была позади, когда гибкость была утрачена и мягкая ткань приобрела несокрушимую твёрдость, стала узловатой, неподатливой, как железо, а инстинкты раз и навсегда установили потребности и законы поведения.

И всё-таки новая обстановка, в которой очутился Белый Клык, опять взяла его в обработку. Она смягчала в нём ожесточённость, лепила из него иную, более совершенную форму. В сущности говоря, всё зависело от Уидона Скотта. Он добрался до самых глубин натуры Белого Клыка и лаской вызвал к жизни все те чувства, которые дремали и уже наполовину заглохли в нём. Так Белый Клык узнал, что такое любовь. Она заступила место склонности — самого тёплого чувства, доступного ему в общении с богами.

Но любовь не может прийти в один день. Возникнув из склонности, она развивалась очень медленно. Белому Клыку нравился его вновь обретённый бог, и он не убегал от него, хотя всё время оставался на свободе. Жить у нового бога было несравненно лучше, чем в клетке у Красавчика Смита; кроме того, Белый Клык не мог обойтись без божества. Чувствовать над собой человеческую власть стало для него необходимостью. Печать зависимости от человека осталась на Белом Клыке с тех далёких дней, когда он покинул Северную глушь и подполз к ногам Серого Бобра, покорно ожидая побоев. Эта неизгладимая печать снова была наложена на него, когда он во второй раз вернулся из Северной глуши после голодовки и почувствовал запах рыбы в посёлке Серого Бобра.

И Белый Клык остался у своего нового хозяина, потому что он не мог обходиться без божества и потому что Уидон Скоп был лучше Красавчика Смита. В знак преданности он взял на себя обязанности сторожа при хозяйском добре. Он бродил вокруг хижины, когда ездовые собаки уже спали, и первому же запоздалому гостю Скотта пришлось отбиваться от него палкой до тех пор, пока на выручку не прибежал сам хозяин. Но Белый Клык вскоре научился отличать

воров от честных людей, понял, как много значат походка и поведение.

Человека, который твёрдой поступью шёл прямо к дверям, он не трогал, хотя и не переставал зорко следить за ним, пока дверь не открывалась и благонадёжность посетителя не получала подтверждения со стороны хозяина. Но тот, кто пробирался крадучись, окольными путями, стараясь не попасться на глаза, — тот не знал пощады от Белого Клыка и пускался в поспешное и позорное бегство.

Уидон Скотт задался целью вознаградить Белого Клыка за всё то, что ему пришлось вынести, вернее — искупить грех, в котором человек был повинен перед ним. Это стало для Скотта делом принципа, делом совести. Он чувствовал, что люди остались в долгу перед Белым Клыкком и долг этот надо выплатить, — и поэтому он старался проявлять к Белому Клыку как можно больше нежности. Он взял себе за правило ежедневно и подолгу ласкать и гладить его.

На первых порах эта ласка вызывала у Белого Клыка одни лишь подозрения и враждебность, но мало-помалу он начал находить в ней удовольствие. И всё-таки от одной своей привычки Белый Клык никак не мог отучиться: как только рука человека касалась его, он начинал рычать и не умолкал до тех пор, пока Скотт не отходил. Но в этом рычании появились новые нотки. Посторонний не расслышал бы их, для него рычание Белого Клыка оставалось по-прежнему выражением первобытной дикости, от которой у человека кровь стынет в жилах. С той дальней поры, когда Белый Клык жил с матерью в пещере и первые приступы ярости овладевали им, его горло огрубело от рычания, и он уже не мог выразить свои чувства по-иному. Тем не менее чуткое ухо Скотта различало в этом свирепом рёве новые нотки, которые только одному ему чуть слышно говорили о том, что собака испытывает удовольствие.

Время шло, и любовь, возникшая из склонности, всё крепла и крепла. Белый Клык сам начал чувствовать это, хотя и бессознательно. Любовь давала знать о себе ощущением пустоты, которая настойчиво, жадно требовала заполнения. Любовь принесла с собой боль и тревогу, которые утихали только от прикосновения руки нового бога. В эти минуты любовь становилась радостью — необузданной радостью, пронизывающей всё существо Белого Клыка. Но стоило богу уйти, как боль и тревога возвращались и Белого Клыка снова охватывало ощущение пустоты, ощущение голода, властно требующего утоления.

Белый Клык понемногу находил самого себя. Несмотря на свои зрелые годы, несмотря на жёсткость формы, в которую он был отлит жизнью, в характере его возникали всё новые и новые черты. В нём зарождались непривычные чувства и побуждения. Теперь Белый Клык вёл себя совершенно по-другому. Прежде он ненавидел неудобства и боль и всячески старался избегать их. Теперь всё стало иначе: ради нового бога Белый Клык часто терпел неудобства и боль. Так, например, по утрам, вместо того чтобы бродить, в поисках пищи или лежать где-нибудь в укромном уголке, он проводил целые часы на холодном крыльце, ожидая появления Скотта. Поздно вечером, когда тот возвращался домой, Белый Клык оставлял тёплую нору, вырытую в сугробе, ради того, чтобы почувствовать прикосновение дружеской руки, услышать приветливые слова. Он забывал о еде — даже о еде, — лишь бы побыть около бога, получить от него ласку или отправиться вместе с ним в город.

И вот склонность уступила место любви. Любовь затронула в нём такие глубины, куда никогда не проникала склонность. За любовь Белый Клык платил любовью. Он обрёл божество, лучезарное божество, в присутствии которого он расцветал, как растение под лучами солнца. Белый Клык не умел проявлять свои чувства. Он был уже немолод и слишком суров для этого. Постоянное одиночество выработало в нём сдержанность. Его угрюмый нрав был результатом долголетнего опыта. Он не умел лаять и уже не мог научиться приветствовать своего бога лаем. Он никогда не лез ему на глаза, не суетился и не прыгал, чтоб доказать свою любовь, никогда не кидался навстречу, а ждал в сторонке, — но ждал всегда. Любовь эта граничила с немым,

молчаливым обожанием. Только глаза, следившие за каждым движением хозяина, выдавали чувства Белого Клыка. Когда же хозяин смотрел на него и заговаривал с ним, он смущался, не зная, как выразить любовь, завладевшую всем его существом.

Белый Клык начинал приспособляться к новой жизни. Так он понял, что собак хозяина трогать нельзя. Но его властный характер заявлял о себе; и собакам пришлось убедиться на деле в превосходстве своего нового вожака. Признав его власть над собой, они уже не доставляли ему хлопот. Стоило Белому Клыку появиться среди стаи, как собаки уступали ему дорогу и покорялись его воле.

Точно так же он привык и к Мэтту, как к собственности хозяина. Уидон Скотт сам очень редко кормил Белого Клыка, эта обязанность возлагалась на Мэтта, — и Белый Клык понял, что пища, которую он ест, принадлежит хозяину, поручившему Мэтту заботиться о нём. Тот же самый Мэтт попробовал как-то запрячь его в нарты вместе с другими собаками. Но эта попытка потерпела неудачу, и Белый Клык покорился только тогда, когда Уидон Скотт сам надел на него упряжь и сам сел в нарты. Он понял: хозяин хочет, чтобы Мэтт правил им так же, как и другими собаками.

У клондайкских нартов, в отличие от саней, на которых ездят на Маккензи, есть полозья. Способ запряжки здесь тоже совсем другой. Собаки бегут гуськом в двойных построениях, а не расходятся веером. И здесь, на Клондайке, вожак действительно вожак. На первое место ставят самую понятливую и самую сильную собаку, которой боится и слушается вся упряжка. Как и следовало ожидать, Белый Клык вскоре занял это место. После многих хлопот Мэтт понял, что на меньшее тот не согласится. Белый Клык сам выбрал себе это место, и Мэтт, не стесняясь в выражениях, подтвердил правильность его выбора после первой же пробы. Бегаая целый день в упряжке, Белый Клык не забывал и о том, что ночью надо сторожить хозяйское добро. Таким образом, он верой и правдой служил Скотту, и у того во всей упряжке не было более ценной собаки, чем Белый Клык.

— Если уж вы разрешите мне высказать своё мнение, — заговорил как-то Мэтт, — то доложу вам, что с вашей стороны было очень умно дать за эту собаку полтора доллара. Ловко вы провели Красавчика Смита, уж не говоря о том, что и по физиономии ему съездили.

Серые глаза Уидона Скотта снова загорелись гневом, и он сердито пробормотал: «Мерзавец!»

Поздней весной Белого Клыка постигло большое горе: внезапно, без всякого предупреждения, хозяин исчез. Собственно говоря, предупреждение было, но Белый Клык не имел опыта в таких делах и не знал, чего надо ждать от человека, который укладывает свои вещи в чемоданы. Впоследствии он вспомнил, что укладывание вещей предшествовало отъезду хозяина, но тогда у него не зародилось ни малейшего подозрения. Вечером Белый Клык, как всегда, ждал его прихода. В полночь поднялся ветер; он укрылся от холода за хижинкой и лежал там, прислушиваясь сквозь дремоту, не раздадутся ли знакомые шаги. Но в два часа ночи беспокойство выгнало его из-за хижинки, он свернулся клубком на холодном крыльце и стал ждать дальше.

Хозяин не приходил. Утром дверь отворилась, и на крыльцо вышел Мэтт. Белый Клык тоскливо посмотрел на погонщика: у него не было другого способа спросить о том, что ему так хотелось знать. Дни шли за днями, а хозяин не появлялся. Белый Клык, не знавший до сих пор, что такое болезнь, заболел. Он был плох, настолько плох, что Мэтту пришлось в конце концов взять его в хижину. Кроме того, в своём письме к хозяину Мэтт приписал несколько строк о Белом Клыке.

Получив письмо в Сёркле, Уидон Скотт прочёл следующее:

«Проклятый волк отказывается работать. Ничего не ест. Совсем приуныл. Собаки не дают

ему проходу. Хочет знать, куда вы девались, а я не умею растолковать ему. Боюсь, как бы не сдох».

Мэтт писал правду. Белый Клык затосковал, перестал есть, не отбивался от налетавших на нет собак. Он лежал в комнате на полу около печки, потеряв всякий интерес к еде, к Магту, ко всему на свете. Мэтт пробовал говорить с ним ласково, пробовал кричать — ничего не действовало: Белый Клык поднимал на него потускневшие глаза, а потом снова ронял голову на передние лапы.

Но однажды вечером, когда Мэтт сидел за столом и читал, шёпотом бормоча слова и шевеля губами, внимание его привлекло тихое повизгивание Белого Клыка. Белый Клык встал с места, наострил уши, глядя на дверь, и внимательно прислушивался. Минутой позже Мэтт услышал шаги. Дверь отворилась, и вошёл Уидон Скотт. Они поздоровались. Потом Скотт огляделся по сторонам.

— А где волк? — спросил он и увидел его.

Белый Клык стоял около печки. Он не бросился вперёд, как это сделала бы всякая другая собака, а стоял и смотрел на своего хозяина.

— Чёрт возьми! — воскликнул Мэтт. — Да он хвостом виляет!

Уидон Скотт вышел на середину комнаты и подозвал Белого Клыка к себе. Белый Клык не прыгнул к нему навстречу, но сейчас же подошёл на зов. Движения его сковывала застенчивость, но в глазах появилось какое-то новое, необычное выражение: чувство глубокой любви засветилось в них.

— На меня, небось, ни разу так не взглянул, пока вас не было, — сказал Мэтт.

Но Уидон Скотт ничего не слышал. Присел на корточки перед Белым Клыком, он ласкал его — почёсывал ему за ушами, гладил шею и плечи, нежно похлопывал по спине. А Белый Клык тихо рычал в ответ, и мягкие нотки слышались в его рычании яснее, чем прежде.

Но это было не всё. Каким образом радость помогла найти выход глубокому чувству, рвавшемуся наружу? Белый Клык вдруг вытянул шею и сунул голову хозяину под мышку; и, спрятавшись так, что на виду оставались одни только уши, он уже не рычал больше и прижимался к хозяину всё теснее и теснее.

Мужчины переглянулись. У Скотта блестели глаза.

— Вот поди ж ты! — воскликнул поражённый Мэтт. Потом добавил: — Я всем да говорил, что это не волк, а собака. Полюбуйтесь на него!

С возвращением хозяина, научившего его любви, Белый Клык быстро пришёл в себя. В хижине он провёл всего две ночи и день, а потом вышел на крыльцо. Собаки уже успели забыть о его доблести, у них осталось в памяти, что за последнее время Белый Клык был слаб и болен, — и как только он появился на крыльце, они кинулись на него со всех сторон.

— Ну и свалка! — с довольным видом пробормотал Мэтт, наблюдавший эту сцену с порога хижины. — Нечего с ними церемониться, волк! Задай им как следует. Ну, ещё, ещё!

Белый Клык не нуждался в поощрении. Приезда любимого хозяина было вполне достаточно — чудесная буйная жизнь снова забила в его жилах. Он дрался, находя в драке единственный выход для своей радости. Конец мог быть только один — собаки разбежались, потерпев поражение, и вернулись обратно лишь с наступлением темноты, униженно и кротко заявляя Белому Клыку о своей покорности.

Научившись прижиматься к хозяину головой, Белый Клык частенько пользовался этим новым способом выражения своих чувств. Это был предел, дальше которого он не мог идти. Голову свою он оберегал больше всего и не выносил, когда до неё дотрагивались. Так велела ему Северная глушь: бойся капкана, бойся всего, что может причинить боль. Инстинкт требовал, чтобы голова оставалась свободной. А теперь, прижимаясь к хозяину, Белый Клык по

собственной воле ставил себя в совершенно беспомощное положение. Он выражал этим беспредельную веру, беззаветную покорность хозяину и как бы говорил ему: «Отдаю себя в твои руки. Поступай со мной, как знаешь».

Однажды вечером, вскоре после своего возвращения, Скотт играл с Мэттом в криббедж на сон грядущий.

— Пятнадцать и два, пятнадцать и четыре, и ещё двойка... — подсчитывал Мэтт, как вдруг снаружи послышались чьи-то крики и рычание.

Переглянувшись, они вскочили из-за стола.

— Волк дерёт кого-то! — сказал Мэтт. Отчаянный вопль заставил их броситься к двери.

— Посветите мне! — крикнул Скотт, выбегая на крыльцо.

Мэтт последовал за ним с лампой, и при свете её они увидели человека, навзничь лежавшего на снегу. Он закрывал лицо и шею руками, пытаясь защититься от зубов Белого Клыка. И это была не лишняя предосторожность: не помня себя от ярости, Белый Клык старался во что бы то ни стало добраться зубами до горла незнакомца; от рукавов куртки, синей фланелевой блузы и нижней рубашки у того остались одни клочья, а искусанные руки были залиты кровью.

Скотт и погонщик разглядели всё это в одну секунду. Скотт схватил Белого Клыка за шею и оттащил назад. Белый Клык рвался с рычанием, но не кусал хозяина и после его резкого окрика быстро успокоился.

Мэтт помог человеку встать на ноги. Поднимаясь, тот отнял руки от лица, и, увидев зверскую физиономию Красавчика Смита, погонщик отскочил назад как ошпаренный. Щурясь на свету, Красавчик Смит огляделся по сторонам. Лицо у него перекосило от ужаса, как только он взглянул на Белого Клыка.

В ту же минуту погонщик увидел, что на снегу что-то лежит. Он поднёс лампу поближе и подтолкнул носком сапога стальную цепь и толстую палку.

Уидон Скотт понимающе кивнул головой. Они не произнесли ни слова. Погонщик взял Красавчика Смита за плечо и повернул к себе спиной. Всё было понятно. Красавчик Смит припустил во весь дух.

А хозяин гладил Белого Клыка и говорил:

— Хотел увести тебя, да? А ты не позволил? Так, так, значит, просчитался этот молодчик!

— Он, небось, подумал, что на него вся преисподняя кинулась, — ухмыльнулся Мэтт.

А Белый Клык продолжал рычать; но мало-помалу шерсть у него на спине улеглась, и мягкая нотка, совсем было потонувшая в этом злобном рычании, становилась всё слышнее и слышнее.

Глава 1

В дальний путь

Это носилось в воздухе. Белый Клык почувствовал беду ещё задолго до того, как она дала знать о своём приближении. Весть о грядущей перемене какими-то неведомыми путями дошла до него. Предчувствие зародилось в нём по вине богов, хотя он и не отдавал себе отчёта в том, как и почему это случилось. Сами того не подозревая, боги выдали свои намерения собаке, и она уже не покидала крыльца хижины и, не входя в комнату, знала, что люди что-то затевают.

— Послушайте-ка! — сказал как-то за ужином погонщик.

Уидон Скотт прислушался. Из-за двери доносилось тихое тревожное поскуливание, похожее скорее на сдерживаемый плач. Потом стало слышно, как Белый Клык обнюхивает дверь, желая убедиться в том, что бог его всё ещё тут, а не исчез таинственным образом, как в прошлый раз.

— Чуёт, в чём дело, — сказал погонщик.

Уидон Скотт почти умоляюще взглянул на Мэтта, но слова его не соответствовали выражению глаз.

— На кой чёрт мне волк в Калифорнии? — спросил он.

— Вот и я то же самое говорю, — ответил Мэтт. — На кой чёрт вам волк в Калифорнии?

Но эти слова не удовлетворили Уидона Скотта; ему показалось, что Мэтт осуждает его.

— Наши собаки с ним не справятся, — продолжал Скотт. — Он их всех перегрызёт. И если даже я не разорюсь окончательно на одни штрафы, полиция всё равно отберёт его у меня и разделается с ним по-своему.

— Настоящий бандит, что и говорить! — подтвердил погонщик.

Уидон Скотт недоверчиво взглянул на него.

— Нет, это невозможно, — сказал он решительно.

— Конечно, невозможно, — согласился Мэтт. — Да вам придётся специального человека к нему приставить.

Все колебания Скотта исчезли. Он радостно кивнул. В наступившей тишине стало слышно, как Белый Клык тихо поскуливает, словно сдерживая плач, и обнюхивает дверь.

— А всё-таки здорово он к вам привязался, — сказал Мэтт.

Хозяин вдруг вскипел:

— Да ну вас к чёрту, Мэтт! Я сам знаю, что делать.

— Я не спорю, только...

— Что «только»? — оборвал его Скотт.

— Только... — тихо начал погонщик, но вдруг осмелел и не стал скрывать, что сердится: — Чего вы так взъерошились? Глядя на вас, можно подумать, что вы так-таки и не знаете, что делать.

Минуту Уидон Скотт боролся с самим собой, а потом сказал уже гораздо более мягким тоном:

— Вы правы, Мэтт. Я сам не знаю, что делать. В том-то вся и беда... — И, помолчав, добавил: — Да нет, было бы чистейшим безумием взять собаку с собой.

— Я с вами совершенно согласен, — ответил Мэтт, но его слова и на этот раз не удовлетворили хозяина.

— Каким образом он догадывается, что вы уезжаете, вот чего я не могу понять! — как ни в чём не бывало продолжал Мэтт.

— Я и сам этого не понимаю, — ответил Скотт, грустно покачав головой.

А потом наступил день, когда в открытую дверь хижины Белый Клык увидел, как хозяин укладывает вещи в тот самый проклятый чемодан. Хозяин и Мэтт то и дело уходили и приходили, и мирная жизнь хижины была нарушена. У Белого Клыка не осталось никаких сомнений. Он уже давно чуял беду, а теперь понял, что ему грозит: бог снова готовится к бегству. Уж если он не взял его с собой в первый раз, то, очевидно, не возьмёт и теперь.

Этой ночью Белый Клык поднял вой — протяжный волчий вой. Белый Клык выл, поднимая морду к безучастным звёздам, и изливал им своё горе так же, как в детстве, когда, прибежав из Северной глуши, он не нашёл посёлка и увидел только кучку мусора на том месте, где стоял прежде вигвам Серого Бобра.

В хижине только что легли спать.

— Он опять перестал есть, — сказал со своей койки Мэтт.

Уидон Скотт пробормотал что-то и заворочался под одеялом.

— В тот раз тосковал, а уж теперь, наверное, сдохнет.

Одеяло на другой койке опять пришло в движение.

— Да замолчите вы! — крикнул в темноте Скотт. — Заладили одно, как старая баба!

— Совершенно справедливо, — ответил погонщик, и у Скотта не было твёрдой уверенности, что тот не подсмеивается над ним втихомолку.

На следующий день беспокойство и страх Белого Клыка только усилились. Он следовал за хозяином по пятам, а когда Скотт заходил в хижину, торчал на крыльце. В открытую дверь ему были видны вещи, разложенные на полу. К чемодану прибавились два больших саквояжа и ящик. Мэтт складывал одеяла и меховую одежду хозяина в брезентовый мешок. Белый Клык заскулил, глядя на эти приготовления.

Вскоре у хижины появились два индейца. Белый Клык внимательно следил, как они взвалили вещи на плечи и спустились с холма вслед за Мэттом, который нёс чемодан и брезентовый мешок. Вскоре Мэтт вернулся. Хозяин вышел на крыльцо и позвал Белого Клыка в хижину.

— Эх ты, бедняга! — ласково сказал он, почёсывая ему за ухом и глядя по спине. — Уезжаю, старина. Тебя в такую даль с собой не возьмёшь. Ну, порычи на прощанье, порычи, порычи как следует.

Но Белый Клык отказывался рычать. Вместо этого он бросил на хозяина грустный, пытливый взгляд и спрягал голову у него под мышкой.

— Гудок! — крикнул Мэтт.

С Юкона донёсся резкий вой паровой сирены.

— Кончайте прощаться! Да не забудьте захлопнуть переднюю дверь! Я выйду через заднюю. Поторапливайтесь!

Обе двери захлопнулись одновременно, и Скотт подождал на крыльце, пока Мэтт выйдет из-за угла хижины. За дверью слышалось тихое повизгиванье, похожее на плач. Потом Белый Клык стал глубоко, всей грудью втягивать воздух, уткнувшись носом в порог.

— Берегите его, Мэтт, — говорил Скотт, когда они спускались с холма. — Напишите мне, как ему тут живётся.

— Обязательно, — ответил погонщик. — Стойте!.. Слышите?

Он остановился. Белый Клык выл, как воют собаки над трупом хозяина. Глубокое горе звучало в этом вое, переходившем то в душераздирающий плач, то в жалобные стоны, то опять взлетавшем вверх в новом порыве отчаяния.

Пароход «Аврора» первый в этом году отправлялся из Клондайка, и палубы его были забиты пассажирами. Тут толпились люди, которым повезло в погоне за золотом, люди, которых золотая лихорадка разорила, — и все они стремились уехать из этой страны, так же как в своё

время стремились попасть сюда.

Стоя около сходней, Скотт прощался с Мэттом. Погонщик уже хотел сойти на берег, как вдруг глаза его уставились на что-то в глубине палубы, и он не ответил на рукопожатие Скотта. Тот обернулся: Белый Клык сидел в нескольких шагах от них и тоскливо смотрел на своего хозяина.

Мэтт чертыхнулся вполголоса. Скотт смотрел на собаку в полном недоумении.

— Вы заперли переднюю дверь? Скоп кивнул головой и спросил:

— А вы заднюю?

— Конечно, запер! — горячо ответил Мэтт.

Белый Клык с заискивающим видом прижал уши, но продолжал сидеть в сторонке, не пытаясь подойти к ним.

— Придётся увести его с собой.

Мэтт сделал два шага по направлению к Белому Клыку; тот метнулся в сторону. Погонщик бросился за ним, но Белый Клык проскользнул между ногами пассажиров. Увёртываясь, шныряя из стороны в сторону, он бегал по палубе и не давался Мэтту.

Но стоило хозяину заговорить, как Белый Клык покорно подошёл к нему.

— Сколько времени кормил его, а он меня теперь и близко не подпускает! — обиженно пробормотал погонщик. — А вы хоть бы раз покормили с того первого дня! Убейте меня — не знаю, как он догадался, что хозяин — вы.

Скотт, гладивший Белого Клыка, вдруг нагнулся и показал на свежие порезы на его морде и глубокую рану между глазами.

Мэтт провёл рукой ему по брюху.

— А про окно-то мы с вами забыли! Смотрите, всё брюхо изрезано. Должно быть, разбил стекло и выскочил.

Но Уидон Скотт не слушал, он быстро обдумывал что-то. «Аврора» дала последний гудок. Провожающие торопливо сходили на берег. Мэтт снял платок с шеи и хотел взять Белого Клыка на привязь. Скотт схватил его за руку.

— Прощайте, Мэтт! Прощайте, дружище! Вам, пожалуй, не придётся писать мне про волка... Я... я...

— Что? — вскрикнул погонщик. — Неужели вы...

— Вот именно. Спрячьте свой платок. Я вам сам про него напишу.

Мэтт задержался на сходнях.

— Он не перенесёт климата! Вам придётся стричь его в жару!

Сходни втащили на палубу, и «Аврора» отвалила от берега. Уидон Скотт помахал Мэтту на прощанье и повернулся к Белому Клыку, стоявшему рядом с ним.

— Ну, теперь рычи, негодяй, рычи, — сказал он, глядя на доверчиво прильнувшего к его ногам Белого Клыка и почёсывая ему за ушами.

Глава 2

На юге

Белый Клык сошёл с парохода в Сан-Франциско.

Он был потрясён. Представление о могуществе всегда соединялось у него с представлением о божестве. И никогда ещё белые люди не казались ему такими чудодеями, как сейчас, когда он шёл по скользким тротуарам Сан-Франциско. Вместо знакомых бревенчатых хижин по сторонам высились громадные здания. Улицы были полны всякого рода опасностей — колясок, карет, автомобилей, рослых лошадей, впряжённых в огромные фургоны, — а среди них двигались страшные трамваи, непрестанно грозя Белому Клыку пронзительным звоном и дребезгом, напоминавшим визг рыси, с которой ему приходилось встречаться в северных лесах.

Всё вокруг говорило о могуществе. За всем этим чувствовалось присутствие властного человека, утвердившего своё господство над миром вещей. Белый Клык был ошеломлён и подавлен этим зрелищем. Ему стало страшно. Сознание собственного ничтожества охватило гордую, полную сил собаку, как будто она снова превратилась в щенка, прибежавшего из Северной глуши к посёлку Серого Бобра. А сколько богов здесь было! От них у Белого Клыка рябило в глазах. Уличный грохот оглушал его, он терялся от непрерывного потока и мелькания вещей. Он чувствовал, как никогда, свою зависимость от хозяина и шёл за ним по пятам, стараясь не упустить его из виду.

Город пронёсся кошмаром, но воспоминание о нём долгое время преследовало Белого Клыка во сне. В тот же день хозяин посадил его на цепь в угол багажного вагона, среди груды чемоданов и сундуков. Здесь всем распоряжался коренастый, очень сильный бог, который с грохотом двигал сундуки и чемоданы, втаскивал их в вагон, громоздил один на другой или же швырял за дверь, где их подхватывали другие боги.

И здесь, в этом крошечном аду, хозяин покинул Белого Клыка, — по крайней мере Белый Клык считал себя покинутым до тех пор, пока не учуял рядом с собой хозяйских вещей и, учуяв, стал на стражу около них.

— Вовремя пожаловали, — проворчал коренастый бог, когда часом позже в дверях появился Уидон Скотт. — Эта собака дотронуться мне не дала до ваших чемоданов.

Белый Клык вышел из вагона. Опять неожиданность! Кошмар кончился. Он принимал вагон за комнату в доме, который со всех сторон был окружён городом. Но за этот час город исчез. Грохот его уже не лез в уши. Перед Белым Клыком расстилалась весёлая, залитая солнцем, спокойная страна. Но удивляться этой перемене было некогда. Белый Клык смирился с ней, как смирился со всеми чудесами, сопутствовавшими каждому шагу богов.

Их ожидала коляска. К хозяину подошли мужчина и женщина. Женщина протянула руки и обняла хозяина за шею... Это враг! В следующую же минуту Уидон Скоп вырвался из её объятий и схватил Белого Клыка, который рычал и бесновался вне себя от ярости.

— Ничего, мама! — говорил Скотт, не отпуская Белого Клыка и стараясь усмирить его. — Он думал, что вы хотите меня обидеть, а этого делать не разрешается. Ничего, ничего. Он скоро всё поймёт.

— А до тех пор я смогу выражать свою любовь к сыну только тогда, когда его собаки не будет поблизости, — засмеялась миссис Скоп, хотя лицо её побелело от страха.

Она смотрела на Белого Клыка, который всё ещё рычал и, весь оцетинившись, не сводил с неё глаз.

— Он скоро всё поймёт, вот увидите, — должен понять! — сказал Скотт.

Он начал ласково говорить с Белым Клыком и, окончательно успокоив его, крикнул

строгим голосом:

— Лежать! Тебе говорят!

Белому Клыку уже были знакомы эти слова, и он повиновался приказанию, хоть и неохотно.

— Ну, мама!

Скоп протянул руки, не сводя глаз с Белого Клыка.

— Лежать! — крикнул он ещё раз.

Белый Клык ошестинился, привстал, но сейчас же опустился на место, не переставая наблюдать за враждебными действиями незнакомых богов. Однако ни женщина, ни мужчина, обнявший вслед за ней хозяина, не сделали ему ничего плохого. Незнакомцы и хозяин уложили вещи в коляску, сели в неё сами, и Белый Клык побежал следом за пей, время си времени подсакивая вплотную к лошадям и словно предупреждая их, что он не позволит причинить никакого вреда богу, которого они так быстро везут по дороге.

Через четверть часа коляска въехала в каменные ворота и покатила по аллее, обсаженной густым, переплетающимся наверху орешником. За аллеей по обе стороны расстилался большой луг с видневшимися на нём кое-где могучими дубами. Подстриженную зелень луга оттеняли золотисто-коричневые, выжженные солнцем поля; ещё дальше были холмы с пастбищами на склонах. В конце аллеи, на невысоком пригорке, стоял дом с длинной верандой и множеством окон.

Но Белый Клык не успел как следует рассмотреть всё это. Едва только коляска въехала в аллею, как на него с разгоревшимися от негодования и злобы глазами налетела овчарка. Белый Клык оказался отрезанным от хозяина. Весь ошестинившись и, как всегда, молча, он приготовился нанести ей сокрушительный удар, но удара этого так и не последовало. Белый Клык остановился на полдороге как вкопанный и осел на задние лапы, стараясь во что бы то ни стало избежать соприкосновения с собакой, которую минуту тому назад он хотел сбить с ног. Это была самка, а закон его породы охранял её от таких нападений. Напасть на самку — значило бы для Белого Клыка не больше не меньше, как пойти против велений инстинкта.

Но самке инстинкт говорил совсем другое. Будучи овчаркой, она питала бессознательный страх перед Северной глушью, и особенно перед таким её обитателем, как волк. Белый Клык был для овчарки волком, исконным врагом, грабившим стада ещё в те далёкие времена, когда первая овца была поручена заботам её отдалённых предков. И поэтому, как только Белый Клык остановился, отказавшись от драки, овчарка сама бросилась на него. Он невольно зарычал, почувствовав, как острые зубы впиваются ему в плечо, но всё-таки не укусил овчарку, а только смущённо попятился назад, стараясь обежать её сбоку. Однако все его старания были напрасны — овчарка не давала ему проходу.

— Назад, Колли! — крикнул незнакомец, сидевший в коляске.

Уидон Скотт засмеялся.

— Ничего, отец. Это хороший урок Белому Клыку. Ему ко многому придётся привыкать. Пусть начинает сразу. Ничего, обойдётся как-нибудь.

Коляска удалялась, а Колли всё ещё преграждала Белому Клыку путь. Он попробовал обогнать её и, свернув с дороги, кинулся через лужайку, но овчарка бежала по внутреннему кругу, и Белый Клык всюду натёкался на её оскаленную пасть. Он повернул назад, к другой лужайке, но она и здесь обогнала его.

А коляска увозила хозяина. Белый Клык видел, как она мало-помалу исчезает за Деревьями. Положение было безвыходное. Он попробовал описать ещё один круг. Овчарка не отставала. Тогда Белый Клык на всём ходу повернулся к ней. Он решился паевой испытанный боевой приём — ударил её в плечо и сшиб с ног. Овчарка бежала так быстро, что удар этот не только свалил её на землю, но заставил по инерции перевернуться несколько раз подряд. Пытаясь

остановиться, она загребала когтями землю и громко выла от негодования и оскорблённой гордости.

Белый Клык не стал ждать. Путь был свободен, а ему только это и требовалось. Не переставая твевать, овчарка бросилась за ним вдогонку. Он взял напрямик, а уж что касается умения бегать, так тут овчарка могла многому поучиться у него. Она мчалась с истерическим лаем, собирая все свои силы для каждого прыжка, а Белый Клык нёсся вперёд молча, без малейшего напряжения и, словно призрак, скользил по траве.

Обогнув дом, Белый Клык увидел, как хозяин выходит из коляски, остановившейся у подъезда. В ту же минуту он понял, что на него готовится новое нападение. К нему неслась шотландская борзая. Белый Клык хотел оказать ей достойный приём, но не смог остановиться сразу, и борзая уже была почти рядом. Она налетела на него сбоку. От такого неожиданного удара Белый Клык со всего размаху кубарем покатился по земле. А когда он вскочил на ноги, вид его был страшен: уши, прижатые вплотную к голове, судорожно подёргивающиеся губы и нос, клыки, лязгнувшие в каком-нибудь дюйме от горла борзой.

Хозяин бросился на выручку, но он был слишком далеко от них, и спасителем борзой оказалась овчарка Колли. Подбежав как раз в ту минуту, когда Белый Клык готовился к прыжку, она не позволила ему нанести смертельный удар противнику. Колли налетела, как шквал. Чувство оскорблённого достоинства и справедливый гнев только разожгли в овчарке ненависть к этому выходцу из Северной глуши, который ухитрился ловким манёвром провести и обогнать её и вдобавок вывалял в песке. Она кинулась на Белого Клыка под прямым углом в тот миг, когда он метнулся к борзой, и вторично сшибла его с ног.

Подоспевший к этому времени хозяин схватил Белого Клыка, а отец хозяина отозвал собак.

— Нечего сказать, хороший приём здесь оказывают несчастному волку, приехавшему из Арктики, — говорил Скотт, успокаивая Белого Клыка. — За всю свою жизнь он только раз был сбит с ног, а здесь его опрокинули дважды за какие-нибудь полминуты.

Коляска отъехала, а из дому вышли новые незнакомые боги. Некоторые из них остановились на почтительном расстоянии от хозяина, но две женщины подошли и обняли его за шею. Белый Клык начинал понемногу привыкать к этому враждебному жесту. Он не причинял никакого вреда хозяину, а в словах, которые боги произносили при этом, не чувствовалось ни малейшей угрозы. Незнакомцы попытались было подойти к Белому Клыку, но он предостерегающе зарычал, а хозяин подтвердил его предостережение словами. Белый Клык жался к ногам хозяина, и тот успокаивал его, ласково поглаживая по голове.

По команде: «Дик! На место!» — борзая взбежала по ступенькам и легла на веранде, всё ещё рыча и не спуская глаз с пришельца. Одна из женщин обняла Колли за шею и принялась ласкать и гладить её. Но Колли никак не могла успокоиться и, возмущённая присутствием волка, скулила, в полной уверенности, что боги совершают ошибку, допуская его в своё общество.

Боги поднялись на веранду. Белый Клык шёл за хозяином по пятам. Дик зарычал на нею. Белый Клык оцетинился и ответил ему тем же.

— Уведите Колли в дом, а эти двое пусть подерутся, — сказал отец Скотта. — После драки они станут друзьями.

— Тогда, чтобы доказать свою дружбу Дик, Белому Клыку придётся выступить в роли главного плакальщика на его похоронах, — засмеялся хозяин.

Отец недоверчиво посмотрел сначала на Белою Клыка, потом на Дика и в конце концов на сына

— Ты думаешь, что?.. Уидон кивнул головой.

— Вы угадали. Ваш Дик отправится на тот свет через минуту, самое большее — через две. Он повернулся к Белому Клыку.

— Пойдём, волк. Видно, в дом придётся увести не Колли, а тебя.

Белый Клык осторожно поднялся по ступенькам и прошёл всю веранду, подняв хвост, не сводя глаз с Дика и в то же время готовясь к любой неожиданности, которая могла встретить его в доме. Но ничего страшного там не было. Войдя в комнаты, он тщательно обследовал все углы, по-прежнему ожидая, что ему грозит опасность. Потом с довольным ворчанием улёгся у ног хозяина, не переставая следить за всем, что происходило вокруг, и готовясь каждую минуту вскочить с места и вступить в бой с теми ужасами, которые, как ему казалось, таились в этой западне.

Глава 3

Владения бога

Переезды с места на место заметно развили в Белом Клыкe умение приспособливаться к окружающей среде, дарованное ему от природы, и укрепили в нём сознание необходимости такого приспособления. Он быстро свыкся с жизнью в Сиерра-Виста — так называлось поместье судьи Скотта. Никаких серьёзных недоразумений с собаками больше не было. Здесь, на Юге, собаки знали обычаи богов лучше, чем он, и в их глазах существование Белою Клыка уже оправдывалось тем фактом, что боги разрешили ему войти в своё жилище. До с их пор Колли и Дикy никогда не приходилось сталкиваться с волком, но раз боги допустили его к себе, им обоим не оставалось ничего другого, как подчиниться.

На первых порах отношение Дика к Белому Клыку не могло не быть несколько настороженным, но вскоре он примирился с ним, как с неотъемлемой принадлежностью Сиерра-Висты. Если бы всё зависело от одного Дика, они стали бы друзьями, но Белый Клык не чувствовал необходимости в дружбе. Он требовал, чтобы собаки оставили его в покое. Всю жизнь он держался особняком от своих собратьев и не имел ни малейшего желания нарушать теперь этот порядок вещей. Дик надоедал ему своими приставаниями, и он, рыча, прогонял его прочь. Ещё на Севере Белый Клык понял, что хозяйских собак трогать нельзя, и не забывал этого урока и здесь. Но он продолжал настаивать на своей обособленности и замкнутости и до такой степени игнорировал Дика, что этот добродушный пёс оставил все попытки завязать дружбу с волком и в конце концов уделял ему внимания не больше, чем коновязи около конюшни.

Но с Колли дело обстояло несколько иначе. Смирившись с тем, что боги разрешили волку жить в доме, она всё же не видела в этом достаточных оснований для того, чтобы совсем оставить его в покое. В памяти у Колли стояли бесчисленные преступления, совершённые волком и его родичами против её предков. Набеги на овчарни нельзя забыть ни за один день, ни за целое поколение, они взывали к мести. Колли не смела нарушить волю богов, подпустивших к себе Белого Клыка, но это не мешало ей отравлять ему жизнь. Между ними была вековая вражда, и Колли взялась непрестанно напоминать об этом Белому Клыку.

Воспользовавшись преимуществами, которые давал ей пол, она всячески изводила и преследовала его. Инстинкт не позволял ему нападать на Колли, но оставаться равнодушным к её настойчивым приставаниям было просто невозможно. Когда овчарка кидалась на него, он подставлял под её острые зубы своё плечо, покрытое густой шерстью, и величественно отходил в сторону; если это не помогало, с терпеливым и скучающим видом начинал ходить кругами, пряча от неё голову. Впрочем, когда она всё же ухитрялась вцепиться ему в заднюю ногу, отступить приходилось гораздо поспешнее, уже не думая о величественности. Но в большинстве случаев Белый Клык сохранял достойный и почти торжественный вид. Он не замечал Колли, если только это было возможно, и старался не попадаться ей на глаза, а увидев или заслышав её поблизости, вставал с места и уходил.

Белый Клык много чему должен был научиться в Сиерра-Висте. Жизнь на Севере была проста по сравнению со здешними сложными делами. Прежде всего ему пришлось познакомиться с семьёй хозяина, но это было для него не в новинку. Мит-Са и Клу-Куч принадлежали Серому Бобру, ели добытое им мясо, грелись около его костра и спали под его одеялами; точно так же и все обитатели Сиерра-Висты принадлежали хозяину Белого Клыка.

Но и тут чувствовалась разница, и разница довольно значительная. Сиерра-Виста была куда больше вигвама Серого Бобра. Белому Клыку приходилось сталкиваться здесь с очень многими людьми. В Сиерра-Висте был судья Скотт со своей женой. Потом там были две сестры хозяина

— Бэт и Мэри. Была жена хозяина — Элис и наконец его дети — Уидон и Мод, двое малышей четырёх и шести лет. Никто не мог рассказать Белому Клык о всех этих людях, а об узах родства и человеческих взаимоотношениях он ничего не знал, да и никогда не смог бы узнать. И всё-таки он быстро понял, что все эти люди принадлежат его хозяину. Потом, наблюдая за их поведением, вслушиваясь в их речь и интонацию голосов, он мало-помалу разобрался и степени близости каждого из обитателей Сиерра-Висты к хозяину, почувствовал меру расположения, которым он дарил их. И соответственно всему этому Белый Клык и сам стал относиться к новым богам: то, что ценил хозяин, ценил и он; то, что было дорого хозяину, надлежало всячески охранять и ему самому.

Так обстояло дело с хозяйскими детьми. Всю свою жизнь Белый Клык не терпел детей, боялся и не переносил прикосновения их рук: он не забыл детской жестокости и тирании, с которыми ему приходилось сталкиваться в индейских посёлках. И когда Уидон и Мод в первый раз подошли к нему, он предостерегающе зарычал и злобно сверкнул глазами. Удар кулаком и резкий окрик хозяина заставили Белого Клыка подчиниться их ласкам, хотя он не переставал рычать, пока крошечные руки гладили его, и в этом рычании не слышалось ласковой нотки. Позднее, заметив, что мальчик и девочка дороги хозяину, он позволял им гладить себя, уже не дожидаясь удара и резкого окрика.

Всё же проявлять свои чувства Белый Клык не умел. Он покорялся детям хозяина с откровенной неохотой и переносил их приставания, как переносит мучительную операцию. Если они уж очень надоедали ему, он вставал и с решительным видом уходил прочь. Но вскоре Уидон и Мод расположили к себе Белого Клыка, хотя он всё ещё никак не выказывал своей отношения к ним. Он никогда не подходил к детям сам, но уже не убегал от них и ждал, когда они подойдут. А потом взрослые стали замечать, что при виде детей в глазах Белого Клыка появляется довольное выражение, которое уступало место чему-то вроде лёгкой досады, как только они оставляли его для других игр.

Много нового пришлось постичь Белому Клык, но на всё это потребовалось время. Следующее место после детей Белый Клык отводил судье Скотту. Объяснялось это двумя причинами: во-первых, хозяин, очевидно, очень ценил его, во-вторых, судья Скотт был человек сдержанный. Белый Клык любил лежать у его ног, когда судья читал газету на просторной веранде. Взгляд или слово, изредка брошенные в сторону Белого Клыка, говорили ему, что судья Скотт замечает его присутствие и умеет дать почувствовать это без всякой навязчивости. Но так бывало, когда хозяин куда-нибудь уходил. Стоило только ему показаться, и весь остальной мир переставал существовать для Белого Клыка.

Белый Клык позволял всем членам семьи Скотта гладить и ласкать, себя, но ни к кому из них он не относился так, как к хозяину. Никакие ласки не могли вызвать любовных ноток в его рычании. Как ни старались родные Скотта, никому из них не удалось заставить Белого Клыка прижаться к себе головой. Этим выражением безграничного доверия, подчинения и преданности Белый Клык удостаивал одного Уидона Скотта. В сущности говоря, остальные члены семьи были для него не чем иным, как хозяйской собственностью.

Точно так же Белый Клык очень рано почувствовал разницу между членами семьи хозяина и слугами. Слуги боялись его, а он, со своей стороны, воздерживался от нападений на этих людей только потому, что считал их тоже хозяйской собственностью. Между ними и Белым Клыком поддерживался нейтралитет, и только. Они варили обед для хозяина, мыли посуду и исполняли всякую другую работу, точно как же как на Клондайке всё это делал Мэтт. Короче говоря, слуги входили необходимой составной частью в жизненный уклад Сиерра-Висты.

Много нового пришлось узнать Белому Клык и за пределами поместья. Владения хозяина были широки и обширны, но и они имели свои границы. Около Сиерра-Висты проходило шоссе.

За ним начинались общие владения всех богов — дороги и улицы. Личные же их владения стояли за изгородями. Всё это управлялось бесчисленным множеством законов, которые диктовали Белому Клыку его поведение, хотя он и не понимал языка богов и мог знакомиться с их законами только на основании собственного опыта. Он действовал сообразно своим инстинктам до тех пор, пока не сталкивался с одним из людских законов. После нескольких таких столкновений Белый Клык постигал закон и больше никогда не нарушал его.

Но сильнее всего действовали на Белого Клыка строгие нотки в голосе хозяина и наказующая рука хозяина. Белый Клык любил своего бога беззаветной любовью, и его строгость причиняла ему такую боль, какой не могли причинить ни Серый Бобр, ни Красавчик Смит. Их побои были ощутимы только для тела, а дух, гордый, неукротимый дух Белого Клыка продолжал бушевать. Удары нового хозяина были чересчур слабы, чтобы причинить боль, и всё-таки они проникали глубже. Хозяин выражал своё неодобрение Белому Клыку и этим уязвлял его в самое сердце.

В сущности говоря, Белому Клыку не так уж часто попадало от хозяина. Хозяйского голоса было вполне достаточно; по этому голосу Белый Клык судил, правильно он поступает или нет, к нему принаравливал своё поведение, поступки. Этот голос был для него компасом, по которому он направлял свой путь, компасом, который помотал ему знакомиться с новой страной и новой жизнью.

На Севере единственным приручённым животным была собака. Все остальные жили на воле и являлись законной добычей каждой собаки, если только она могла с ней справиться. Раньше Белому Клыку часто приходилось промышлять охотой, и ему было невдомёк, что на Юге дело обстоит по-иному. Убедился он в этом в самом начале своего пребывания в долине Санта-Клара. Гуляя как-то рано утром около дома, он вышел из-за угла и наткнулся на курицу, убежавшую с птичьего двора. Вполне понятно, что ему захотелось съесть её. Прыжок, сверкнувшие зубы, испуганное кудахтанье — и отважная путешественница встретила свой конец. Курица была хорошо откормленная, жирная и нежная на вкус; Белый Клык облизнулся и решил, что еда попалась неплохая.

В тот же день он набрёл около конюшни ещё на одну заблудшую курицу. На выручку ей прибежал конюх. Не зная нрава Белого Клыка, он захватил с собой для устрашения тонкий хлыстик. После первого же удара Белый Клык оставил курицу и бросился на человека. Его можно было бы остановить палкой, но не хлыстом. Второй удар, встретивший его на середине прыжка, он принял молча, не дрогнув от боли. Конюх вскрикнул, шарахнулся назад от прыгнувшей ему на грудь собаки, уронил хлыст, схватился за шею руками. В результате рука его была расплосована от локтя вниз до самой кости.

Конюх страшно перепугался. Его ошеломила не столько злоба Белого Клыка, сколько то, что он бросился молча, не залааяв, не зарывчав. Всё ещё не отнимая искусанной и залитой кровью руки от лица и горла, конюх начал отступать к сараю. Не появившись на сцене Колли, ему бы несдобровать. Колли спасла конюху жизнь, так же как в своё время она спасла жизнь Дику. Не помня себя от ярости, овчарка кинулась на Белого Клыка. Она оказалась умнее слишком доверчивых богов. Все её подозрения оправдались: это грабитель! Он снова принялся за свои старые проделки! Он неисправим!

Конюх убежал на конюшню, а Белый Клык начал отступать перед свирепыми зубами Колли, кружась и подставляя под её укусы то одно, то другое плечо. Но Колли продолжала донимать его, не ограничиваясь на этот раз обычным наказанием. Её волнение и злоба разгорались с каждой минутой, и в конце концов Белый Клык забыл всё своё достоинство и удрал в поле.

— Он не будет охотиться на кур, — сказал хозяин, — но сначала мне нужно застать его на месте преступления.

Случай представился два дня спустя, но хозяин даже не предполагал, каких размеров достигнет это преступление. Белый Клык внимательно следил за птичьим двором и его обитателями. Вечером, когда куры уселись на насест, он взобрался на грудку недавно привезённого сена, перепрыгнул оттуда на крышу курятника, перелез через её гребень и соскочил на землю. Секундой позже в курятнике началось смертоубийство.

Утром, когда хозяин вышел на веранду, глазам его предстало любопытное зрелище: конюх выложил на траве в один ряд пятьдесят зарезанных белых леггорнов. Скотт тихо засвистал, сначала от удивления, потом от восторга. Глазам его предстал также и Белый Клык, который не выказывал ни малейших признаков смущения или сознания собственной вины. Он держался очень горделиво, как будто и в самом деле совершил поступок, достойный всяческих похвал. При мысли о предстоящей ему неприятной задаче хозяин сжал губы: затем он резко заговорил с безмятежно настроенным преступником, и в голосе его — голосе бога — слышался гнев. Больше того: хозяин ткнул Белого Клыка носом в зарезанных кур и ударил его кулаком.

С тех пор Белый Клык уже не совершал налётов на курятник. Куры охранялись законом, и Белый Клык понял это. Вскоре хозяин взял его с собой на птичий двор. Как только живая птица засновала чуть ли не под самым носом у Белого Клыка, он сейчас же приготовился к прыжку. Это было вполне естественное движение, но голос хозяина оставил его остановиться. Они пробыли на птичьем дворе с полчаса. И каждый раз, когда Белый Клык, поддаваясь инстинкту, бросался за птицей, голос хозяина останавливал его. Таким образом он усвоил ещё один закон и тут же, не выходя из этого птичьего царства, научился не замечать его обитателей.

— Такие охотники на кур неисправимы, — грустно покачивая головой, проговорил за завтраком судья Скотт, когда сын рассказал ему об уроке, преподанном Белому Клыку. — Стоил им только повадиться на птичий двор и попробовать вкус крови... — И он снова с грустью покачал головой.

Но Уидон Скотт не соглашался с отцом.

— Знаете, что я сделаю? — сказал он наконец. — Я запрю Белого Клыка на курятнике на целый день.

— Что же будет с курами! — запротестовал отец.

— Больше того, — продолжал сын, — за каждую задушенную курицу я плачу золотой доллар.

— На папу тоже надо наложить, какой-нибудь штраф, — вмешалась Бэт.

Сестра поддержала её, и все сидевшие за столом хором одобрили это предложение. Судья не стал возражать.

— Хорошо! — Уидон Скотт на минуту задумался. — Если к концу дня Белый Клык не тронет ни одного курёнка, за каждые десять минут, проведённые им на птичьем дворе, вы скажете ему совершенно серьёзным и торжественным голосом, как в суде во время оглашения приговора: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Выбрав такие места, где их не было видно, все члены семьи приготовились наблюдать за событиями. Но им пришлось потерпеть сильное разочарование. Как только хозяин ушёл со двора, Белый Клык лёг и заснул. Потом проснулся и подошёл к корыту напиться. На кур он не обращал ни малейшего внимания — они для него не существовали. В четыре часа он прыгнул с разбега на крышу курятника, соскочил на землю по другую сторону и степенной рысцой побежал к дому. Он усвоил новый закон. И судья Скотт, к великому удовольствию всей семьи, собравшейся на веранде, торжественным голосом сказал шестнадцать раз подряд: «Белый Клык, ты умнее, чем я думал».

Но многообразие законов очень часто сбивало Белого Клыка с толку и повергало его в немилость. В конце концов он твёрдо уяснил себе, что нельзя трогать и кур, принадлежащих

другим богам. То же самое относилось к кошкам, кроликам и индюшкам. Откровенно говоря, после первого ознакомления с этим законом у него создалось впечатление, что все живые существа неприкосновенны. Перепёлки вспархивали на лугу из-под самого его носа и улетали невредимыми. Белый Клык дрожал всем телом, но всё же смирял в себе инстинктивное желание схватить птицу. Он повиновался воле богов.

Но вот однажды ему пришлось увидеть, как Дик спугнул на лугу зайца. Хозяин тоже видел это и не только не вмешивался, но даже подстрекал Белого Клыка присоединиться к погоне. Таким образом, Белый Клык узнал, что новый закон не распространяется на зайцев, и в конце концов усвоил его целиком. С домашними животными надо жить в мире. Если дружба с ними не ладится, то нейтралитет следует поддерживать во всяком случае. Но другие животные — белки, перепела и зайцы, не порвавшие связи с лесной глушью и не покоровившиеся человеку, — законная добыча каждой собаки. Боги защищали только ручных животных и не позволяли им враждовать между собой. Боги были властны в жизни и смерти своих подданных и ревниво оберегали эту власть.

Жизнь в Сиерра-Висте была далеко не так проста, как на Севере. Цивилизация требовала от Белого Клыка прежде всего власти над самим собой и выдержки — той уравновешенности, которая неосязема, словно паутинка, и в то же время твёрже стали. Жизнь здесь была тысячелика, и Белый Клык соприкасался с ней во всём её многообразии. Так, когда ему приходилось бежать вслед за хозяйской коляской по городу Сан-Хосе или ждать хозяина на улице, жизнь текла мимо него глубоким, необъятным потоком, непрерывно требуя мгновенного приспособления к своим законам и почти всегда заставляя его заглушать в себе все естественные порывы.

В городе он видел мясные лавки, в которых прямо перед носом висело мясо. Но трогать его не разрешалось. В домах, куда заходил хозяин, были кошки, которых тоже следовало оставлять в покое. А собаки встречались повсюду, и драться с ними было нельзя, хоть они рычали на него. Кроме того, по тротуарам сновало бесчисленное множество людей, чьё внимание он привлекал к себе. Люди останавливались, показывали на него друг другу, разглядывали его со всех сторон, заговаривали с ним и, что было хуже всего, трогали его руками. Приходилось терпеливо выносить прикосновение чужих рук, но терпением Белый Клык уже успел запастись. Он сумел даже преодолеть свою неуклюжую застенчивость и с высокомерным видом принимал все знаки внимания, которыми наделяли его незнакомые боги. Они снисходили до него, и он отвечал им тем же. И всё же в Белом Клыке было что-то такое, что препятствовало слишком фамильярному обращению с ним. Прохожие гладили его по голове и отправлялись дальше, довольные собственной смелостью.

Но Белому Клыку не всегда удавалось отделаться так легко. Когда хозяйская коляска проезжала предместьями Сан-Хосе, мальчишки, попадавшие на пути, встречали его камнями. Белый Клык знал, что догнать их и разделаться с ними как следует нельзя. Приходилось поступать вопреки инстинкту самосохранения, и он, заглушая в себе голос инстинкта, становился мало-помалу совсем ручной, цивилизованной собакой.

И всё же такое положение дел не совсем удовлетворяло Белою Клыка, хоть он и не знал, что такое беспристрастие и честность. Но каждое живое существо до известной степени обладает чувством справедливости, и Белому Клыку трудно было примириться с тем, что ему не позволяют защищаться от этих мальчишек.

Он забыл, что договор, заключённый между ним и богами, обязывал последних заботиться о нём и охранять его. И вот однажды хозяин выскочил из коляски с хлыстом в руках и как следует проучил сорванцов. После этого они перестали бросаться камнями, и Белый Клык всё понял и почувствовал полное удовлетворение. Вскоре Белому Клыку пришлось испытать другой

подобный же случай. Около салуна, мимо которого он пробежал по дороге в город, всегда слонялись три пса, взявшие себе за правило бросаться на него. Зная, чем кончаются все схватки Белого Клыка с собаками, хозяин неустанно втолковывал ему закон, запрещающий драки. Белый Клык хорошо усвоил этот закон и, пробегая мимо салуна на перекрёстке, всегда попадал в очень неприятное положение. Его злобное рычание сейчас же отгоняло всех трёх собак на приличную дистанцию, но они продолжали свою погоню издали, лаяли, оскорбляли его. Так продолжалось довольно долгое время. Посетители салуна даже поощряли собак и как-то раз совершенно открыто натравили их на Белого Клыка. Тогда хозяин остановил коляску.

— Взять их! — сказал он Белому Клыку.

Белый Клык не поверил собственным ушам. Он посмотрел на хозяина, посмотрел на собак. Потом ещё раз бросил на хозяина вопросительный и тревожный взгляд.

Тот кивнул головой.

— Возьми их, старик! Задай им как следует!

Белый Клык отбросил все колебания. Он повернулся и молча кинулся на врагов. Те не отступили. Началась свалка. Собаки лаяли, рычали, лязгали зубами. Вставшая столбом пыль заслонила поле битвы. Но через несколько минут две собаки уже бились на дороге в предсмертных судорогах, а третья бросилась наутёк. Она перепрыгнула канаву, проскочила сквозь изгородь и убежала в поле. Белый Клык мчался за ней совершенно бесшумно, как настоящий волк, не уступая волку и в быстроте, и на середине поля настиг и прикончил её.

Это тройное убийство положило конец его неладам с чужими собаками. Слух о происшествии разнёсся по всей долине, и люди стали следить за тем, чтобы их собаки не приставали к бойцовому волку.

Глава 4

Голос крови

Месяцы шли один за другим. Еды на Юге было вдоволь, работы от Белого Клыка не требовали, и он вошёл в тело, благоденствовал и был счастлив. Юг стал для Белого Клыка не только географической точкой — он жил на Юге жизни. Человеческая ласка согревала его, как солнце, и он расцветал, словно растение, посаженное в добрую почву.

И всё-таки между Белым Клыком и собаками чувствовалась какая-то разница. Он знал все законы даже лучше своих собратьев, которым не приходилось жить в других условиях, и соблюдал их с большей точностью, — и тем не менее свирепость не изменяла ему, как будто Северная глушь всё ещё держала его в своей власти, как будто волк, живший в нём, только задремал на время.

Белый Клык не дружил с собаками. Он всегда был одиночкой и намеревался держаться в стороне от своих собратьев и впредь. С первых лет своей жизни, омрачённых враждой с Лип-Липом и со всей сворой щенков, и за те месяцы, которые ему пришлось провести у Красавчика Смита, Белый Клык возненавидел собак. Жизнь его уклонилась от нормального течения, и он сблизился с человеком, отдалившись от своих сородичей.

Кроме того, на Юге собаки относились к Белому Клыку с большой подозрительностью: он будил в них инстинктивный страх перед Северной глушью, и они встречали его лаем и рычанием, в котором слышалась ненависть. Он же, со своей стороны, понял, что кусать их совсем необязательно. Оскаленные клыки и злобно вздрагивающие губы действовали безошибочно и останавливали почти любую разъярённую собаку.

Но жизнь послала Белому Клыку испытание, и этим испытанием была Колли. Она не давала ему ни минуты покоя. Закон не обладал для неё такой же непреложной силой, как для Белого Клыка, и Колли противилась всем попыткам хозяина заставить их подружиться. Её злобное, истеричное рычание неотвязно преследовало Белого Клыка: Колли не могла простить ему историю с курами и была твёрдо уверена в преступности всех его намерений. Она находила вину там, где её ещё и не было. Она отравляла Белому Клыку существование, следуя за ним по пятам, как полисмен, и стоило ему только бросить любопытный взгляд на голубя или курицу, как овчарка поднимала яростный, негодующий лай. Излюбленный способ Белого Клыка отделаться от неё заключался в том, что он ложился на землю, опускал голову на передние лапы и притворялся спящим. В таких случаях она всегда терялась и сразу умолкала.

За исключением неприятностей с Колли, всё остальное шло гладко. Белый Клык научился сдерживать себя, твёрдо усвоил законы. В характере его появились положительность, спокойствие, философское терпение. Среда перестала быть враждебной ему. Предчувствия опасности, угрозы боли и смерти как не бывало. Мало-помалу исчез и ужас перед неизвестным, подстерегавшим его раньше на каждом шагу. Жизнь стала спокойной и лёгкой. Она текла ровно, не омрачаемая ни страхами, ни враждой.

Ему не хватало снега, но сам он не понимал этого. «Как затянулось лето!» — подумал бы, вероятно, Белый Клык, если бы мог так подумать. Потребность в снеге была смутная, бессознательная. Точно так же в летние дни, когда солнце жгло безжалостно, он испытывал лёгкие приступы тоски по Северу. Но тоска эта проявлялась только в беспокойстве, причины которого оставались неясными ему самому.

Белый Клык никогда не отличался экспансивностью. Он прижимался головой к хозяину, ласково ворчал и только такими способами выражал свою любовь. Но вскоре ему пришлось узнать и третий способ. Он не мог оставаться равнодушным, когда боги смеялись. Смех

приводил его в бешенство, заставлял терять рассудок от ярости. Но на хозяина Белый Клык не мог сердиться, и, когда тот начал однажды добродушно подшучивать и смеяться над ним, он растерялся. Прежняя злоба поднималась в нём, но на этот раз ей приходилось бороться с любовью. Сердиться он не мог, — что же ему было делать? Он старался сохранить величественный вид, но хозяин захохотал громче. Он набрался ещё больше величия, а хозяин всё хохотал и хохотал. В конце концов Белый Клык сдался. Верхняя губа у него дрогнула, обнажив зубы, и глаза загорелись не то лукавым, не то любовным огоньком. Белый Клык научился смеяться.

Научился он и играть с хозяином: позволял валить себя с ног, опрокидывать на спину, проделывать над собой всякие шутки, а сам притворялся разъярённым, весь оцетинивался, рычал и лязгал зубами, делая вид, что хочет укусить хозяина. Но до этого никогда не доходило: его зубы щёлкали в воздухе, не задевая Скотта. И в конце такой возни, когда удары, толчки, лязганье зубами и рычание становились всё сильнее и сильнее, человек и собака вдруг отскакивали в разные стороны, останавливались и смотрели друг на друга. А потом так же внезапно — будто солнце вдруг проглянуло над разбушевавшимся морем — они начинали смеяться. Игра обычно заканчивалась тем, что хозяин обнимал Белого Клыка за шею, а тот заводил свою ворчливо-нежную любовную песенку.

Но, кроме хозяина, никто не осмеливался поднимать такую возню с Белым Клыком. Он не допускал этого. Стоило кому-нибудь другому покуситься на его чувство собственного достоинства, как угрожающее рычание и вставшая дыбом шерсть убивали у этого смельчака всякую охоту поиграть с ним. Если Белый Клык разрешал хозяину такие вольности, это вовсе не значило, что он расточает свою любовь направо и палено, как обыкновенная собака, готовая возиться и играть с кем угодно. Он любил только одного человека и отказывался разменивать спую любовь.

Хозяин много ездил верхом, и Белый Клык считал своей первейшей обязанностью сопровождать его в такие прогулки. На Севере он доказывал свою верность людям тем, что ходил в упряжи, но на Юте никто не ездил на нартах, и здешних собак не нагружали тяжестями. Поэтому Белый Клык всегда был при хозяине во время его поездок, найдя в этом новый способ для выражения своей преданности. Ему ничего не стоило бежать так хоть целый день. Он бежал без малейшего напряжения, не чувствуя усталости, ровной волчьей рысью и, проделав миль пятьдесят, всё так же резво нёсся впереди лошади.

Эти поездки хозяина дали Белому Клыку возможность научиться ещё одному способу выражения своих чувств, и замечательно то, что он воспользовался им только два раза за всю свою жизнь. Впервые это случилось, когда Уидон Скотт добивался от горячей чистокровной лошади, чтобы она позволяла ему открывать и закрывать калитку, не сходя с седла. Раз за разом он подъезжал к калитке, пытаясь закрыть её за собой, но лошадь испуганно пятилась назад, шарахалась в сторону. Она горячилась всё больше и больше, взвивалась на дыбы, а когда хозяин давал ей шпоры и заставлял опустить передние ноги, начинала бить задом. Белый Клык следил за ними с возрастающим беспокойством и под конец, не имея больше сил сдерживать себя, подскочил к лошади и злобно и угрожающе залаял на неё.

После случая с лошадью он часто пытался лаять, и хозяин поощрял его попытки, но сделать это ему удалось ещё только один раз, причём хозяина в то время не было поблизости. Поводом к этому послужили следующие события: хозяин скакал верхом по полю, как вдруг лошадь метнулась в сторону, испугавшись выскочившего из-под самых её копыт зайца, споткнулась, хозяин вылетел из седла, упал и сломал ногу. Белый Клык расвирепел и хотел было вцепиться провинившейся лошади в горло, но хозяин остановил его.

— Домой! Ступай домой! — крикнул он, удостоверившись, что нога сломана.

Белый Клык не желал оставлять его одного. Хозяин хотел написать записку, но не нашёл в карманах ни карандаша, ни бумаги. Тогда он снова приказал Белому Клыку бежать домой.

Белый Клык тоскливо посмотрел на него, сделал несколько шагов, вернулся и тихо заскулил. Хозяин заговорил с ним ласковым, но серьёзным тоном; Белый Клык насторожил уши, с мучительным напряжением вслушиваясь в слова.

— Не смущайся, старик, ступай домой, — говорил Уидон Скотт. — Ступай домой и расскажи там, что случилось. Домой, волк, домой!

Белый Клык знал слово «домой» и, не понимая остального, всё же догадался, о чём говорит хозяин. Он повернулся и нехотя побежал по полю. Потом остановился в нерешительности и посмотрел назад.

— Домой! — раздалось строгое приказание, и на этот раз Белый Клык повиновался.

Когда он подбежал к дому, все сидели на веранде, наслаждаясь вечерней прохладой. Белый Клык был весь в пыли и тяжело дышал.

— Уидон вернулся, — сказала мать Скотта.

Дети встретили Белого Клыка радостными криками и кинулись ему навстречу. Он ускользнул от них в дальний конец веранды, но маленький Уидон и Мод загнали его в угол между качалкой и перилами. Он зарычал, пытаясь вырваться на свободу. Жена Скотта испуганно посмотрела в ту сторону.

— Всё-таки я в постоянной тревоге за детей, когда они вертятся около Белого Клыка, — сказала она. — Только и ждёшь, что в один прекрасный день он бросится на них.

Белый Клык с яростным рычанием выскочил из ловушки, свалив мальчика и девочку с ног. Мать подозвала их к себе и стала утешать и уговаривать оставить Белого Клыка в покое.

— Волк всегда останется волком, — заметил судья Скотт. — На него нельзя полагаться.

— Но он не настоящий волк, — вмешалась Бэт, вставая на сторону отсутствующего брата.

— Ты полагаешься на слова Уидона, — возразил судья. — Он думает, что в Белом Клыке есть собачья кровь, но ведь это только его предположение. А по виду...

Судья не закончил фразы. Белый Клык остановился перед ним и яростно зарычал.

— Пошёл на место! На место! — строго проговорил судья Скотт.

Белый Клык повернулся к жене хозяина. Она испуганно вскрикнула, когда он схватил её зубами за платье и, потянув к себе, разорвал лёгкую материю.

Тут уж Белый Клык стал центром всеобщего внимания. Он стоял, высоко подняв голову, и вглядывался в лица людей. Горло его подёргивалось судорогой, но не издавало ни звука. Он силился как-то выразить то, что рвалось в нём наружу и не находило себе выхода.

— Уж не взбесился ли он? — сказала мать Уидона. — Я говорила Уидону, что северная собака не перенесёт тёплого климата.

— Он того и гляди заговорит! — воскликнула Бэт. В эту минуту Белый Клык обрёл дар речи и разразился оглушительным лаем.

— Что-то случилось с Уидоном, — с уверенностью сказала жена Скотта.

Все вскочили с места, а Белый Клык бросился вниз по ступенькам, оглядываясь назад и словно приглашая людей следовать за собой. Он лаял второй и последний раз в жизни и добился, что его поняли.

После этого случая обитатели Сиерра-Висты стали лучше относиться к Белому Клыку, и даже конюх с искусанной рукой признал, что Белый Клык умный пёс, хоть он и волк. Судья Скотт тоже придерживался этой точки зрения и, к всеобщему неудовольствию, приводил в доказательство своей правоты описания и таблицы, взятые из энциклопедии и различных книг по зоологии.

Дни шли один за другим, щедро заливая долину Санта-Клара солнечными лучами. Но с

приближением зимы, второй его зимы на Юге, Белый Клык сделал странное открытие, — зубы Колли перестали быть такими острыми: её игривые, лёгкие укусы уже не причиняли боли. Белый Клык забыл, что когда-то овчарка отравляла ему жизнь, и, стараясь отвечать ей такой же игривостью, проделывал это до смешного неуклюже.

Однажды Колли долго носилась по лугу, а потом увлекла Белого Клыка за собой в лес. Хозяин собирался покататься до обеда верхом, и Белый Клык знал об этом: осёдланная лошадь стояла у подъезда. Белый Клык колебался. Он чувствовал в себе нечто такое, что было сильнее всех познанных им законов, сильнее всех привычек, сильнее любви к хозяину, сильнее воли к жизни. И когда овчарка куснула его и побежала прочь, он оставил свою нерешительность, повернулся и последовал за ней. В тот день хозяин ездил один, а Белый Клык бегал по лесу бок о бок с Колли, — так же, как много лет назад в безмолвной северной чаще его мать Кичи бегала с Одноглазым.

Глава 5

Дремлющий волк

Приблизительно в это же время в газетах появились сообщения о смелом побеге из Сан-Квентинской тюрьмы одного заключённого, славившегося своей свирепостью. Это была натура, исковерканная с самого рождения и не получившая ни малейшей помощи от окружающей среды, натура, являвшая собой поразительный пример того, во что может обратиться человеческий материал, когда он попадает в безжалостные руки общества. Это было животное, — правда, животное в образе человека, но тем не менее иначе как хищником его нельзя было назвать. В Сан-Квентинской тюрьме он считался неисправимым. Никакое наказание не могло сломить его упорство. Он был способен бунтовать до последнего издыхания, не помня себя от ярости, но не мог жить побитым, покорённым. Чем яростнее бунтовал он, тем суровее общество обходилось с ним, и эта суровость только разжигала его злобу. Смирительная рубашка, голод, побои не достигали своей цели, а ничего другого Джим Холл не получал от жизни. Так обращались с Джимом Холлом с самого раннего детства, проведённого им в трущобах Сан-Франциско, когда он был мягкой глиной, готовой принять любую форму в руках общества.

В третий раз отбывая срок заключения в тюрьме, Джим Холл встретил там сторожа, который был почти таким же зверем, как и он сам. Сторож всячески преследовал его, оклеветал перед смотрителем, и Джима лишили последних тюремных поблажек. Вся разница между Джимом и сторожем заключалась лишь в том, что сторож носил при себе связку ключей и револьвер, а у Джима Холла были только голые руки да зубы. Но однажды он бросился на сторожа и вцепился зубами ему в горло, как дикий зверь в джунглях.

После этого Джима Холла перевели в одиночную камеру. Он прожил в ней три года. Пол, стены и потолок камеры были обиты железом. За всё это время он ни разу не вышел из неё, ни разу не увидел неба и солнца. Вместо дня в камере стояли сумерки, вместо ночи — чёрное безмолвие. Джим Холл был заживо погребён в железной могиле. Он не видел человеческую лица, не обменялся ни с кем ни словом. Когда ему просовывали пищу, он рычал, как дикий зверь. Он ненавидел весь мир. Он чем выть от ярости день за днём, ночь за ночью, потом замолкал на недели и месяцы, не издавая ни звука в этом чёрном безмолвии, проникавшем ему в самую душу.

А потом как-то ночью он убежал. Смотритель уверял, что это немыслимо, но тем не менее камера была пуста, а на пороге её лежал убитый сторож. Ещё два трупа отмечали путь преступника через тюрьму к наружной стене, — всех троих Джим Холл убил голыми руками, чтобы ничего не было слышно.

Сняв с убитых сторожей оружие, Джим Холл скрылся в горы. Голову его оценили в крупную сумму золотом. Алчные фермеры гонялись за ним с ружьями. Ценой его крови можно было выкупить закладную или послать сына в колледж. Граждане, воодушевившиеся чувством долга, вышли на Холла с ружьями в руках. Свора ищеек мчалась по его кровавым следам. А ищейки закона, состоявшие на жалованье у общества, звонили по телефону, слали телеграммы, заказывали специальные поезда, ни днём, ни ночью не прекращая своих розысков.

Время от времени Джим Холл попадался на глаза своим преследователям, и тогда люди геройски шли ему навстречу или кидались от него врассыпную, к великому удовольствию всей страны, читавшей об этом в газетах за завтраком. После таких стычек убитых и раненых развозили по больницам, а их места занимали другие любители охоты на человека.

А затем Джим Холл исчез. Ищейки тщетно рыскали по его следам. Вооружённые люди задерживали ни в чём не повинных фермеров и требовали, чтобы те удостоверили свою

личность. А жаждавшие получить выкуп за голову Холла десятки раз находили в горах его труп.

Всё это время газеты читались и в Сиерра-Висте, но не столько с интересом, сколько с беспокойством. Женщины были перепуганы. Судья Скотт хорохорился и подшучивал над ними, — впрочем, без всяких оснований, так как незадолго до того, как он вышел в отставку, Джим Холл предстал перед ним в суде и выслушал от него свой приговор. И там же, в зале суда, перед всей публикой Джим Холл заявил, что настанет день, когда он отомстит судье, вынесшему этот приговор.

На этот раз Джим Холл был невиновен. Его осудили неправильно. В воровском мире и среди полицейских это называлось «закатать в тюрьму».

Джима Холла «закатали» за преступление, которого он не совершал. Приняв во внимание две прежние судимости Джима Холла, судья Скотт дал ему пятьдесят лет тюрьмы.

Судья Скотт не знал многих обстоятельств дела, не подозревал он и того, что стал невольным соучастником сговора полицейских, что показания были подстроены и извращены, что Джим Холл не был причастен к преступлению. А Джим Холл со своей стороны не знал, что судья Скотт действовал по неведению. Джим Холл был уверен, что судья Скотт прекрасно обо всём осведомлён и, вынося этот чудовищный по своей несправедливости приговор, действует рука об руку с полицией. И поэтому, когда судья Скотт огласил приговор, осуждающий Джима Холла на пятьдесят лет жизни, мало чем отличающейся от смерти, Джим Холл, ненавидевший мир, который так круто обошёлся с ним, вскочил со своего места и бесновался от ярости до тех пор, пока его враги, одетые в синие мундиры, не повалили его на пол. Он считал судьёю Скотта краеугольным камнем обрушившейся на него твердыни несправедливости и грозил ему мстостью. А потом Джима Холла заживо погребли в тюремной камере... и он убежал оттуда.

Обо всём этом Белый Клык ничего не знал. Но между ним и женой хозяина, Элис, существовала тайна. Каждую ночь, после того как вся Сиерра-Виста отходила ко сну, Элис вставала с постели и впускала Белого Клыка на всю ночь в холл. А так как Белый Клык не был комнатной собакой и ему не полагалось спать в доме, то рано утром, до того как все встанут, Элис тихонько сходила вниз и выпускала его во двор.

В одну такую ночь, когда весь дом покоился во сне, Белый Клык проснулся, но продолжал лежать тихо. И так же тихо он повёл носом и сразу поймал несущуюся к нему по воздуху весть о присутствии в доме незнакомого бога. До его слуха доносились звуки шагов. Белый Клык не залаял. Это было не в его обычае. Незнакомый бог ступал очень тихо, но ещё тише ступал Белый Клык, потому что на нём не было одежды, которая шуршит, прикасаясь к телу. Он двигался бесшумно. В Северной глуши ему приходилось охотиться за пугливой дичью, и он знал, как важно заслать её врасплох.

Незнакомый бог остановился у лестницы и стал прислушиваться. Белый Клык замер. Он стоял, не шевелясь, и ждал, что будет дальше. Лестница вела в коридор, где были комнаты хозяина и самых дорогих для него существ. Белый Клык оцетинился, но продолжал ждать молча. Незнакомый бог поставил ногу на нижнюю ступеньку; он стал подниматься вверх по лестнице...

И в эту минуту Белый Клык кинулся. Он сделал это без всякого предупреждения, даже не зарычал. Тело его взвилось в воздух и опустилось прямо на спину незнакомому богу. Белый Клык повис у него на плечах и впился зубами ему в шею. Он повис на незнакомом боге всей своей тяжестью и в одно мгновение опрокинул его навзничь. Оба рухнули на пол. Белый Клык отскочил в сторону, но как только человек попытался встать на ноги, он снова кинулся на него и снова запустил зубы ему в шею.

Обитатели Сиерра-Висты в страхе проснулись. По шуму, доносившемуся с лестницы, можно было подумать, что там сражаются полчища дьяволов. Раздался револьверный выстрел, за ним второй, третий. Кто-то пронзительно вскрикнул от ужаса и боли. Потом послышалось громкое

рычание. И все эти звуки сопровождал звон стекла и грохот опрокидываемой мебели.

Но шум замер так же внезапно, как и возник. Всё это длилось не больше трёх минут. Перепуганные обитатели дома столпились на верхней площадке лестницы. Снизу, из темноты, доносились булькающие звуки, будто воздух выходил пузырьками на поверхность воды. По временам бульканье переходило в шипение, чуть ли не в свист. Но и эти звуки быстро замерли, и во мраке слышалось только тяжёлое дыхание, словно кто-то мучительно ловил ртом воздух.

Уидон Скотт повернул выключатель, и потоки света залили лестницу и холл. Потом он и судья Скотт осторожно спустились вниз, держа наготове револьверы. Впрочем, осторожность их оказалась излишней: Белый Клык уже сделал своё дело. Посреди опрокинутой и переломанной мебели лежал на боку человек, лицо его было прикрыто рукой. Уидон Скотт нагнулся, убрал руку и повернул человека лицом вверх. Зияющая на горле рана не оставляла никаких сомнений относительно причины его смерти.

— Джим Холл! — сказал судья Скотт.

Отец и сын многозначительно переглянулись, затем перевели взгляд на Белого Клыка. Он тоже лежал на боку. Глаза у него были закрыты, но, когда люди наклонились над ним, он приподнял веки, силясь взглянуть вверх, и чуть шевельнул хвостом. Уидон Скоп погладил его, и в ответ на эту ласку он тихонько зарычал. Но рычание прозвучало чуть слышно и сейчас же оборвалось. Веки у Белого Клыка дрогнули и закрылись, всё тело как-то сразу обмякло, и он вытянулся на полу.

— Кончено твоё дело, бедняга, — пробормотал хозяин.

— Ну, это мы ещё посмотрим, — заявил судья и пошёл к телефону.

— Откровенно говоря, у нею один шанс на тысячу, — сказал хирург, полтора часа провозившись около Белого Клыка.

Первые солнечные лучи, глянувшие в окна, побороли электрический спет. Вся семья, кроме детей, собралась около хирурга, чтобы послушать, что он скажет о Белом Клыке.

— Перелом задней ноги, — продолжал тот. — Три сломанных ребра и по крайней мере одно из них прошло в лёгкое. Большая потеря крови. Возможно, что имеются и другие внутренние повреждения, так как, по-видимому, его топтали ногами. Я уже не говорю о том, что все три пули прошли навылет. Да нет, один шанс на тысячу — это, пожалуй, слишком оптимистично. У него нет и одного на десять тысяч.

— Но нельзя терять и этого шанса! — воскликнул судья Скотт. — Я заплачу любые деньги! Надо сделать просвечивание — всё, что понадобится... Уидон, телеграфируй сейчас же в Сан-Франциско доктору Никольсу. Вы не обижайтесь, доктор, мы вам верим, но для этой собаки надо сделать всё, что можно.

— Ну, разумеется, разумеется! Я понимаю, собака этого заслуживает. За ней надо ухаживать, как за человеком, как за больным ребёнком. И следите за температурой. Я загляну в десять часов.

И за Белым Клыком ухаживали действительно как за человеком. Дочери судьи с негодованием отвергли предложение вызвать сиделку и взялись за это дело сами. И Белый Клык вырвал у жизни тот единственный шанс, в котором ему отказал хирург.

Но не следует осуждать хирурга за его ошибку. До сих пор ему приходилось лечить и оперировать изнеженных цивилизацией людей, потомков многих изнеженных поколений. По сравнению с Белым Клыком все они казались хрупкими и слабыми и не умели цепляться за жизнь. Белый Клык был выходцем из Северной глуши, которая никому не позволяет изнежиться и быстро уничтожает слабых. Ни у его матери, ни у его отца, ни у многих поколений их предков не было и признаков изнеженности. Северная глушь наградила Белого Клыка железным организмом и живучестью, и он цеплялся за жизнь и духом и телом с тем упорством, которое в

былые времена было свойственно каждому живому существу.

Прикованный к месту, лишённый возможности даже шевельнуться из-за тугих повязок и гипса, Белый Клык долгие недели боролся со смертью. Он подолгу спал, видел множество снов, и в мозгу его нескончаемой вереницей проносились видения Севера. Прошлое ожило и обступило Белого Клыка со всех сторон. Он снова жил в логовище с Кичи; дрожая всем телом, подползал к ногам Серого Бобра, выражая ему свою покорность; спасался бегством от Лип-Липа и завывающей своры щенков.

Белый Клык снова бегал по безмолвному лесу, охотясь за дичью в дни голода; снова видел себя во главе упряжки; слышал, как Мит-Са и Серый Бобр щёлкают бичами и кричат: «Раа! Раа!», когда сани въезжают в ущелье и упряжка сжимается, как веер, на узкой дороге. День за днём прошла перед ним жизнь у Красавчика Смита и бои, в которых он участвовал. В эти минуты он скулил и рычал, и люди, сидевшие около него, говорили, что Белому Клыку снится дурной сон.

Но мучительнее всего был один повторяющийся кошмар: Белому Клыку снились трамваи, которые с грохотом и дребезгом мчались на него, точно громадные, пронзительно воюющие рыси. Вот Белый Клык, притаившись, лежит в кустах, поджидая той минуты, когда белка решится наконец спуститься с дерева на землю. Вот он прыгает на свою добычу... Но белка мгновенно превращается в страшный трамвай, который громоздится над ним, как гора, угрожающе визжит, грохочет и плюёт на него огнём. Так же было и с ястребом. Ястреб камнем падал на него с неба и превращался на лету всё в тот же трамвай. Белый Клык видел себя в загородке у Красавчика Смита. Кругом собирается толпа, и он знает, что скоро начнётся бой. Он смотрит на дверь, поджидая своего противника. Дверь распаивается, и страшный трамвай летит на него. Такой кошмар повторялся день за днём, ночь за ночью, и каждый раз Белый Клык испытывал ужас во сне.

Наконец в одно прекрасное утро с него сняли последнюю гипсовую повязку, последний бинт. Какое это было торжество! Вся Сиерра-Виста собралась около Белого Клыка. Хозяин почёсывал ему за ухом, а он пел свою ворчливо-ласковую песенку. «Бесценный Волк» — назвала его жена хозяина. Это новое прозвище было встречено восторженными криками, и все женщины стали повторять: «Бесценный Волк! Бесценный Волк!»

Он попробовал было подняться на ноги, сделал несколько безуспешных попыток и упал. Выздоровление так затянулось, что мускулы его потеряли упругость и силу. Ему было стыдно своей слабости, как будто он провинился в чём-то перед богами. И, сделав героическое усилие, он встал на все четыре лапы, пошатываясь из стороны в сторону.

— Бесценный Волк! — хором воскликнули женщины.

Судья Скоп бросил на них торжествующий взгляд.

— Вашими устами глаголет истина! — сказал он. — Я твердил об этом всё время. Ни одна собака не могла бы сделать того, что сделал Белый Клык. Он — волк.

— Бесценный Волк, — поправила его миссис Скотт.

— Да, Бесценный Волк, — согласился судья. — И отныне я только так и буду называть его.

— Ему придётся сызнова учиться ходить, — сказал врач. — Пусть сейчас и начинается. Теперь уже можно. Выведите его во двор.

И Белый Клык вышел во двор, а за ним, словно за августейшей особой, почтительно шли все обитатели Сиерра-Висты. Он был очень слаб и, дойдя до лужайки, лёг на траву и несколько минут отдыхал.

Затем процессия двинулась дальше, и мало-помалу с каждым шагом мускулы Белого Клыка наливались силой, кровь быстрее и быстрее бежала по жилам. Дошли до конюшни, и там около ворот лежала Колли, а вокруг неё резвились на солнце шестеро упитанных щенков.

Белый Клык посмотрел на них с недоумением. Колли угрожающе зарычала, и он предпочёл держаться от неё подальше. Хозяин подтолкнул к нему ногой ползавшего по траве щенка. Белый Клык ошетинился, но хозяин успокоил его. Колли, которую сдерживала Бэт, не спускала с Белого Клыка настороженных глаз и рычанием предупреждала, что успокаиваться ещё рано.

Щенок подполз к Белому Клыку. Тот наострил уши и с любопытством оглядел его. Потом они коснулись друг друга носами, и Белый Клык почувствовал, как тёплый язычок щенка лизнул его в щёку. Сам не зная, почему так получилось, он тоже высунул язык и облизал щенку мордочку.

Боги встретили это рукоплесканиями и криками восторга. Белый Клык удивился и недоуменно посмотрел на них. Потом его снова охватила слабость; он опустился на землю и, поглядывая на щенка, нагнул голову набок. Остальные щенки тоже подползли к нему, к великому неудовольствию Колли, и Белый Клык с важным видом позволял им карабкаться себе на спину и скатываться на траву.

Рукоплескания смутили его и заставили почувствовать былую неловкость. Но вскоре это прошло. Щенки продолжали свою возню, а Белый Клык лежал на солнышке и, полузакрыв глаза, медленно погружался в дремоту.

Данная книга была скачана с сайта Librs.net.